Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 4

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Алексей УСТИМЕНКО. **Полонез в туркестанском халате** 6
Александр СВИСТУНОВ. **Кукольный театр.** *Рассказ* 46
Алексей УСТИМЕНКО. **Акведук через красный проспект…** *Рассказ* 55
Натиг РАСУЛЗАДЕ. **Молния на юбке.** *Рассказ* 75
Мейхош АБДУЛЛАХ. *Рассказы* 100
Алпай АЗЕР. *Новеллы* 117

ПОЭЗИЯ

Раим ФАРХАДИ. *Стихи* 40
Алина ТАЛЫБОВА. *«Расслышать друг друга…»*
Переводы из словацкой поэзии 81
Марат ШАФИЕВ. **Наивный манифест** 131

ПУБЛИЦИСТИКА

НЕТ ВОЙНЕ В УКРАИНЕ! 3
Низами МАМЕДОВ. **Эвристическая ценность идей Низами Гянджеви** 66
Александр ХАКИМОВ. **Добрый друг, милый дом…** 88
Гюляр АБДУЛЛАБЕКОВА. **Карабах в творческих инспирациях польских кавказских поэтов XIX века** 114
Рая АББАСОВА. **Надо верить в себя и в свое будущее** 124

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ – СЕЙШЕЛЬСКИЙ**

Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**

Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА**

Литсотрудники – **Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА, Ниджат МАМЕДОВ**
https://soundcloud.com/nijat-mamedov-489264474
https://www.youtube.com/channel/UCoPQ9ounuR9X3KgCh0JdFYg

Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,***
Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос – Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com

Сдано в печать 28.03. 2022 г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497 – 36 – 23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы
редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2022 г.

НЕТ ВОЙНЕ В УКРАИНЕ!

Дорогая Солмаз!

Простите, что обращаюсь к Вам без былой церемонности, но у меня так мало друзей за пределами обезумевшей страны, несущей гибель другим и себе, что я, не спросясь, включил Вас в их число – вот и называю проще, по-дружески.

Счел для себя необходимым разместить за рубежом (в России пока все каналы перекрыты) короткий вложенный текст. Он максимально корректен, но мою позицию выражает точно. Больше на тему разверзшейся пропасти высказываться не собираюсь, но сейчас промолчать не могу. Хотя бы потому, что вырос в Баку, рожден в год Петуха и в День Победы.

Вряд ли мои попытки донести «до человечества» свою точку зрения будут им хоть как-то замечены...

Однако очень хочу, чтобы знали: Азербайджан, Баку и 6-я школа воспитали не труса.

И самое последнее и сокровенное.

Победа моей родины во второй Карабахской войне еще раз убедила меня, что Бог на стороне правого дела! Спасибо Азербайджану за это!!!

Всех благ, искренне Ваш Марк.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Расхожим стал тезис о том, что восьмилетние страдания жителей ДНР и ЛНР (действительно, к несчастью, имевшие место) миром не замечались. Не буду обсуждать первотолчок, после которого эти страдания возникли; допустим, что совершались преступления, за которыми, согласно принципам справедливости, должно (было) последовать наказание. И вот утром 24 февраля началась спецоперация, призванная, как я понимаю, этот процесс «наказания» запустить и сделать необратимым. А еще «демилитаризировать», «денацифицировать», «укрепить единство» русского и украинского народов и многая прочая.

Сегодня в Украине заканчивается 9-й день от начала спецоперации.

Девятый круг ада.

Сколько их будет – 99? 999? Еще больше?

И что в итоге? За прошедшие злосчастные восемь лет в городах и поселках «степи донецкой» с обеих сторон погибло четырнадцать тысяч человек. За будущие восемь лет в Украине погибнет, и теперь это уже несомненно, много-много больше.

Это что, библейское «Око за око, зуб за зуб» превращено в: «За око – два ока и все зубы»? А в качестве «одного из зубов» – не менее чем полувековая будущая ненависть к нам тридцати миллионов граждан Украины?

Выбран именно этот вариант «наказания»?

В полной мере осознавая свою ответственность, заявляю, что я категорически против такого выбора.

4 марта 2022 года

МАРК БЕРКОЛАЙКО
прозаик, драматург,
доктор физико-математических наук,
профессор

ГЮЛЮШ АГАМАМЕДОВА

Общественный договор

Граждане любой суверенной страны, по определению, соглашаются подчиниться политическому устройству своего государства. А вот государство берет на себя обязательство, в меру своих возможностей, заботиться о своих гражданах, соблюдать справедливые законы и способствовать процветанию общества. Максима – «Каждый народ заслуживает своего повелителя», на мой взгляд, как раз об этом. Социальный заказ общества может быть осознанным либо неосознанным, когда идеи витают в воздухе. Но обязательно находятся деятели, улавливающие эти идеи и способные спекулировать на них. Процесс обоюдный. Форматированием общественного сознания занимались во все времена с переменным успехом. Однако совершенное оболванивание, лишение права на собственное мнение, на свободу слова, мы наблюдаем в тоталитарных государствах, то есть в государствах, контролирующих все виды деятельности граждан. Мы знаем, что такое тоталитарное государство. Мы в нем жили. В Советском Союзе. Когда государство, а не граждане, решает, кто враг, а кто друг, кто нацист, а кто пацифист, «что такое хорошо, а что такое плохо», список длинный. Но даже в СССР были проблески инакомыслия. Современная Россия стала совершенным тоталитарным государством. Ужас заключается в том, что огромная масса населения под воздействием пропаганды утрачивает способность к рефлексии. Мыслительный процесс заменяется готовыми лозунгами, клише, долгое время вбивавшимися в сознание. Одним из важных инструментов сохранения в рабском положении большого числа людей является страх. Карательные органы – фундамент тоталитарного государства. В качестве поощрения за хорошее (в понимание власти) поведение граждане могут получить некоторые финансовые бонусы.

Неужели какое-либо общество может осознанно, либо неосознанно стремиться к тоталитарному режиму? Возможно ли такое? Судя по тому, как раз за разом российское государство выбирает себе в качестве главы кровавого диктатора, не исключаю такой возможности. Агрессию России против Украины невозможно объяснить с позиций здравого смысла. Никак.

Вот что пишет российский журналист.

NVGAZETA.ru
«Чужой земли мы не хотим ни пяди»
№84–86 от 4 мар 2022 г.
Дата публикации: 4 мар 2022 г.
Так ведь она нам и не чужая

Александр Сидоров

«Многие пеняют российскому руководству на то, что оно вместе с Крымом не присоединило и другие области Новороссии: Мариуполь, Одессу, Харьков и проч. – к сегодняшнему дню всё это могло быть российским. И скольких жертв можно было бы избежать! А теперь эти города придётся отбивать, и без боевых потерь такие операции не обойдутся.

Я бы согласился, если бы не одно но. Военное командование страны знакомо с ситуацией намного лучше, чем любой из нас. Во-первых, вспоминая грузино-российский конфликт 2008 года, следует отметить, что наша армия была недостаточно к нему подготовлена, что и отмечалось позднее. А ведь грузины представляли собой невеликую опасность.

Во-вторых, напомню русское: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги – а по ним ходить!». Политика – это не только боевые действия, но и экономика, санкции, информационные войны. Надо реально рассчитывать свои силы. И такой расчёт у руководства страны, судя по всему, есть. Оно отстаивает интересы России постепенно, но твёрдо. 8 августа 2008 года была Грузия (впрочем, там инцидент спровоцировал Михаил Саакашвили), затем 23-24 февраля 2014 года к нам вернулся Крым, а теперь, когда сил и средств достаточно для дальнейшего противостояния НАТО на западе, настала пора продвигаться дальше. Хотя я согласен: упущено много реального времени».

Привела выдержку из статьи Александра Сидорова для того, чтобы стало ясно, что не все в России, к нашему огромному сожалению, могут отрицательно ответить на вопрос «хотят ли русские войны». Судя по тексту Сидорова, многие не просто хотят, а подталкивают свое руководство к войне. Граждане не только одобряют политику «партии и правительства», а требуют решительных действий. В статье обозначена программа дальнейшего продвижения российского воинства, возможно, не все цели определены, но для начала вполне конкретно сказано, чего ждать от «миролюбивой» российской политики.

Некоторые мои френды на Фейсбуке после моих постов в защиту Украины стали убеждать меня в том, что я не права, мол НАТО, мол бандеровцы, мол украинские нацисты… Вы знаете их аргументы. На мое заявление о том, что не НАТО напало на Россию, и что не украинцы бомбят Москву, Питер, Рязань, а совсем наоборот, мне напомнили о Донбассе, Луганске, о сепаратистах. Что такое сепаратисты, мы знаем, мы жили и живем с этим горем около тридцати лет. Наши города в Карабахе, цветущие когда-то города, превратили в руины армянские оккупанты. Смотришь на страшные развалины и задаешься вопросом. Для чего им понадобилась эта земля, эти города, если они превратили их в руины? Там ведь никто не жил. Для чего порушили столько жизней, пролили столько крови? Изуродованную землю армянские оккупанты начинили минами, чтобы тот, кто посмеет ступить на эту землю, взорвался, был убит на месте.

Как заявил российский президент Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2018 году: *«А мы, как жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут»*. И кто сейчас жертва агрессии? Как мне казалось, любой здравомыслящий человек согласится с тем, что агрессия – это когда войска одной страны входят на территорию другой страны и начинают войну. Войну в Украине начала Россия. Бомбардировку мирных городов, убийство мирных граждан российские власти фарисейски называют «специальной военной операцией». Это не война, утверждают не только российские власти, но и пропагандисты, затуманившие сознание большого числа российских граждан, совсем как когда-то пропаганда нацистской Германии, это не война, это – защита «русского мира». Они видят мир словно в кривом зеркале. *«Это не русские бомбят Киев. Они сами бомбят свои города»*, – комментарий из соцсети. Министр иностранных дел России Лавров на пресс-конференции в Анталье 10 марта заявил, что *«Россия не нападала на Украину»*. Что возразить на подобное заявление?

Волна ненависти к России и русским поднимается. Это ужасно, то, что происходит. Великая нация погружается во тьму. Украинцы не простят им крови своих близких и порушенные города. Украинцы, у которых много русских родственников. Нам хорошо знакомо это чувство. Мы стали врагами с нашими соседями армянами. И никто не сможет предсказать, как скоро затянутся раны. Да и вообще, когда закончится этот кошмар, и «великий и ужасный» русский правитель будет остановлен. Потому как сам, приходится признать страшную очевидность, он не остановится. Русские друзья, откройте глаза и посмотрите на то, что происходит у вас на родине в России и в уже небратской Украине!

У НАС В ГОСТЯХ ПИСАТЕЛИ УЗБЕКИСТАНА

АЛЕКСЕЙ УСТИМЕНКО

ПОЛОНЕЗ В ТУРКЕСТАНСКОМ ХАЛАТЕ

(Главы из повести)

Полонез – polonaise (франц.)
от польского – polonais:
торжественный бальный танец-шествие.

Из энциклопедии

Пока артистки наряжаются за занавесом и готовят все для представления, собрание не начинается. Затем раздается звонок, как бы извещая: «Отсутствующие явитесь, разошедшиеся собирайтесь: внимайте, мы покажем представление».

Ахмад Дониш[1]

Из рассказа о путешествии Абулькасим-бия в Россию

Восток – чудо чудесное и величайший ужас, ибо в нем граница между жизнью и смертью не является четко определенной, но петляет и расплывается.

Иво Андрич,
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 г.

Санкт-Петербург. Мокрые каменья.

Стройный красавец с оранжево окрашенной бородой Абдулкадыр-дадхо[2], назначенный в Санкт-Петербург посланником для торжественного случая – быть на бракосочетании дочери Александра II Николаевича, – привез с собою из Бухары три жены и некоторое количество слуг. Последние неожиданно оказались без надобности. Русские люди, отчего-то – до странности – почти все с немецкими фамилиями, кажется, еще до приезда хорошо озаботились их нынешним пребыванием в столице.

Еда готовилась татарскими мастерами-ошпазами по привычным азиатским соображениям. Больше того, даже с пониманием и учитыванием здесь, в Московии, до-

[1] Ахмад Махмуд ибн Носир (1827 / 1829 – 1897). Ахмад-махдум. Псевдоним – «Дониш» («Знающий»). «Махдум» – в Средней Азии так обычно называли сыновей духовных лиц (имамов, казиев, etc). Употребляют и самостоятельно как почетное прозвище – «господин», заменяя имя собственное. Дониш известен также по прозвищам: «Ахмадий Калла» («Большеголовый») или же – «Мухандис» («Инженер»). Знаменитый восточный (таджикский) просветитель. Поэт и прозаик времен Бухарского эмирата. Трижды (1856, 1868 и 1870-е гг.) побывал в Санкт-Петербурге в составе Бухарского посольства. Свои путешествия описал в книге «Наводир ул-вакое» («Редкостные события»).

[2] Дадхо – носитель одного из высших – в восходящем порядке – чинов (девятого) в Бухарском ханстве. Мог занимать должность бека – правителя вилайята (области).

гоняющих мусульманских праздников. А буде изъявлено желание хоть бы и одного из посольских, – русские повара тут же еще прибавляли и своих разных блюд, и иных, видно ими изученных в совсем уж далеких кухнях Европы-Фарангистана.

Все кони, истощавшие за многомесячный переход, устало толклись в чужих гостеприимных конюшнях.

Верблюды, до единого сохраненные на трудном пути, неограниченно жевали вислыми губами, подремывая в определенных им стойлах, вряд ли замечая, что только одного из них нет на месте… Не самый жилистый из них, но и не самый худой и худший, чем-то так поразил встреченного у самого въезда в Санкт-Петербург какого-то случайно наскочившего на караван купца, что тот не поскупился на золото и, надоедливостью убедив караванбоша, купил его себе. Аллах ведает – с какой целью…

Зато теперь среди новостей мокрого города бродит некая, весьма убедительная: будто настоящий запряженный в сани верблюд готов развозить от Невского и до самой Лахты разную рухлядь и кладь господ петербуржцев с платой по немалому, но все-таки договорному, прейскуранту… Желающих до сих пор не собралось. Зато вослед запряженному верблюду всегда набегали мальчишки. Солдат на санях плевался в них сухою слюной, бестолково вертя щелкающими вожжами. Полозья скребли по камням острым звуком, двигаясь впустую, бесполезно.

Абдулкадыр-дадхо знал как будто бы все обо всем здесь происходящем, а потому с самого начала их пребывания в России ему жилось скучно. Солнца нет. Желтый навозный снег и перед дворцом, разъезженно хлюпает даже под государственными ногами.

Две петербурженки, встретившись, замерли почти под окном, заговорили, то и дело отряхивая свои шерстяные шапочки и воротники от налипающего снега.

Абдулкадыр-дадхо опять сунул ожидающее лицо за блестящую штору: толста, можно и не расслышать, как подкатит обещанная карета… Не просил, да пообещали. Скорее всего, это тяжкоголовый решил. Не сидится ему в тепле.

– Я бы их всех разогнать велел палками, – вслух произнес Абдулкадыр-дадхо, отходя от окна, прячущего столичную мглу за теплыми красными шторами.

– Кого? – осторожно спросила средняя жена, Зулайхо, очевидно, раздумывая, подойти или не подойти к запотевшим стеклам, чтобы поглядеть за них.

Конечно, он сказал про мальчишек, но она поняла, что про кого-то еще. Он поморщился. Если посланника понимают – такое плохо. Такое ни к чему…

В неумении спрятать себя пусть живет всякий, но только не он… Если хочется жить в Бухаре. Не в смысле вернуться, а в смысле – жить, то есть просто выжить.

Однако Зулайхо всегда оказывала нужную вежливость мужу и преданными словами. Вот подошла, рядом стала и долго разглядывала засыпаемых снегом женщин.

Непонятно даже – как стоят? А уж как ходят – совсем неясно… Сверху – узко. Снизу – раздуто. Похоже: каждая казан перевернутый под юбку засунула и на нем верхом, как на коне, восседает. А когда ходят, должно быть, между ногами его волокут. Прижмут, придавят и семенят себе потихоньку, шажком ишачковым, меленьким. Зулайхо ладошкою рот придержала, – не положено здесь рассмеиваться, хотя очень хотелось. Поразглядывала, сделалась серьезной, потом сказала:

– Теперь я знаю, отчего русские пришли в Ташкент…

Еще немножко подумала, добавила:

– ...и почти в Бухару. Им здесь холодно и некуда убегать, чтоб согреться. А у нас тепло. Птицы. Весною желтая черешня сладкой бывает.

Абдулкадыр-дадхо отвечал почти машинально:

– В таком случае, может, вы знаете, может быть, объясните, – мы-то сами зачем сюда пришли?

– Ну, уж никак не для того, чтобы огорчаться! – раздался неожиданный голос от дверей.

Зулайхо вежливо вскрикнула и – наклонив головку будто в смущенном смятении – мелкими шажками пробежала в женский угол, лишь на мгновение скосив подкрашенные чернотою глаза в сторону произнесшего. И этого взгляда ей хватило, чтобы весело фыркнуть.

– Раз уж пришли, так пришли, – покачивая непомерно большой головою, продолжил вошедший. Громадная белая чалма, увеличивая ее едва ли не вдвое, высилась до притолоки, – куполом здешних церквей. – Раз уж пришли, так пришли. Ну, почти взяли они, эти русские, наш народ в свои комнаты. Получается, что теперь мы тоже живем в них, пусть и не своей волею. Но если все так, отчего не воспользоваться случаем? Может, Аллаху, Дающему средства к существованию, продлевающему жизнь – Аль-Басит и Уравновешивающему противоречия – аль-Джами, угодно было тем самым приоткрыть для нас некоторую, до сего дня неведомую и недоступную сокровищницу, россыпь марварида-жемчуга?

Зулайхо, не слушая, прошептала какие-то веселые слова другим женщинам. Чуть-чуть прикрытые тканью лица снова перешепнулись. Вот-вот не удержатся и рассмеются вслух.

– Забылись! – отойдя от шторы, грохнул Абдулкадыр-дадхо. – Осмелились смеяться над словами самого господина Ахмад-урака[1]?

– Простите, господин… Неужели не увидели? Но уважаемый Ахмад-урак зачем-то спрятал свои глаза за стеклянными донышками от стакана…

Теперь смех было не удержать. И он вырвался в три высоких, ничем не остановимых, женских голоска. Абдулкадыр-дадхо тоже не удержался, гыкнув несколько раз, особенно – разглядев Ахмада, все еще стоящего у дверей. На носу у этого, после него второго по значимости, посольского человека – чуть косо крепились большие очки с круглыми стеклами, действительно – будто чайными донышками из стекла.

В комнатах, где расселились женщины, всегда успокаивающе стояло неторопливо ровное и постоянное гудение. Женщины разговаривали. Перенеслось такое гудение и сюда, в гостиную…

Удивительные они все-таки существа… Полмира недавно прошли. Из тепла в холод прокочевали. По, инеем покрытому, песку. По камням, от неровности которых синие пятна у него на заду, кажется, навсегда прижились, да еще кожа ног от верху и до самых колен изнутри стерта. У них-то ведь тоже. Хоть меньше, чем у него, но и здесь до почти что крови. Ведь и верхом бывало. А терпят, когда он трогает их голые ноги. Губы кусают, вздрагивают до слез, но терпят, терпят…

А еще говорят все о том же, о чем говорили и в Бухаре.

Будто не чужой город вокруг, не черные и не серые камни, которыми, отсюда кажется, плотно обложен весь мир, а – привычные купола: и Таки Заргарон, и Таки Тельпак Фурушон, и Таки Саррофон… Будто за зеркальными стеклами те самые купола, под которыми каракулевыми шапками и золотыми браслетами с одинаковым рвением торгуют. Будто совсем под боком – только выгляни – оранжево-коричневый узорчато выложенный камень минарета Калян торчит между мечетью и медресе. И аисты топчутся в своих плоских гнездах между четырех башенок Чор-Минора.

Если, конечно, задуматься, как он сейчас, то даже радость от этого и ему тоже…

Понятно, если бы не фирман самого эмира, никакой шайтан не загнал бы Абдулкадыра-дадхо под мутное, стекающее на их головы, жидкое и холодное стекло петербургского неба, на этот конец мира, сотворенного Всевышним – велик Он и славен! – не иначе, как для врагов Ислама и всего Бухарского эмирата! Но всякий указ эмира Музаффара – благоволение. Радуйся и когда веревку на шею накинут.

Две женщины, совсем-совсем уж присыпанные снежною пудрой, над чем-то смеялись, похоже, вовсе не собираясь расходиться…

[1] Почетный придворный титул, пожалованный Ахмаду Донишу эмиром Бухарским примерно в 1871–1872 гг. после первых его поездок в Россию, в Санкт-Петербург.

Здесь – тоже женщины. И здесь кому-то с ними совсем хорошо, и совсем тяжко.

Дорога, приведшая их сюда, вилась длинной змеей, бесконечной, не кончающейся. И не была однообразной. Веками торившие ее люди, упрямо вытаптывали пространство для своего ровного караванного движения. То – по глиняным плоскостям, выбивая желтую пыль. Густую, как раскаленный воздух. Вдыхаемую вместе с ним и застревающую глубоко в горле. То – по каменным расползающимся россыпям, прорезающим кожу сапог едва ли не насквозь. То – по расхлюпавшейся, разваливающейся на две стороны, будто подрезанной омачом-плугом, совсем черной земле, негостеприимно расстилавшейся под копытами коней, колесам арб и телег уже здесь, в русской стране.

И оттого, что бесконечная дорога не оказывалась гостеприимною и не всегда выставляла вдоль себя, где-нибудь по обок, ни караван-сараев, ни лесных или деревенских избушек, ни даже и пустого места под невысокие походные шатры – где-нибудь среди гор особенно, значимость людей, ехавших с его посольским караваном, окончательно перепуталась. И слуга, единственно умеющий сохранить костер, мог почти что приказом отправить важного человека рубить сучья или же выискивать хворост, чтобы всем вместе не померзнуть.

Спутались и открылись в том длинном пути и все тайны, совместно со всеми едущих и бредущих бухарских женщин. В пути они еще до самых глаз упрятывали пыльные лица в пропотевшие шелковые платки, когда на них смотрели в упор незнакомые люди. Но когда не смотрели – уже и не закрывались. Они еще ели поодаль ото всех, сидя кружком, подвернув под себя усталые ноги, но уже во время движения каравана оказывались среди всех, не исчезая в никуда, как исчезали дома в прохладные уголки ичкари – скрытой от всех, женской своей территории. Теперь их видели не только слуги, теперь их видел тот же чужой для семьи Ахмадий. И они не прятались в глубины комнат Санкт-Петербургских дворцов, которые здесь – и для них тоже – были, но оставались сидеть среди всех на коврах общей гостиной… Чужим не зайти, а посольские – тот же Ахмад, за многодневную отзмеившуюся дорогу стал будто своим. То есть – ни для кого из них как бы и незаметен... Они ж для него иными вообще никогда не были.

Лошадиный постук сейчас отъезжающих тоже все не расслышивался.

Отчего со двора, из этого полузамкнутого курдоннёра? Отчего без подобающего, впереди бегущего и оповещающего всех об их движении, громкоголосого гонца-скорохода?

Ведь вот – веющий там, снаружи, снег по стеклу хоть и тихо шуршит, его-то ведь слышно. И посланникову карету Ахмад-урака должны видеть и слышать все.

– Изволим ехать, господин посланник? – тоном, меньше всего похожим на вопрос, спросил Ахмад-урак и указательным пальцем правой руки ткнул в стекло очков, укрепил их повыше.

– Карета еще не подъезжала, – мотнув головою в сторону затуманенного окна, сказал Абдулкадыр-дадхо.

– Я приказал не поднимать шума и отказался от конных стражей…

Глаза Абдулкадыра сделались очень большими.

Женщины в уголке, оборвав свой перешепот, спрятались в тишину.

– Как это?

– Все-таки зима, хотя и мокро. Я приказал подать крытую карету для нас четверых… – Ахмад-урак с удовольствие, по-русски, выговорил это слово – «карету».

– Но я ничего не видел…

– Господин посланник смотрел не с той стороны, – весело проговорил Ахмад. – Я приказал подъехать к нам со двора.

– Но эскорт? Но стража? Это не почетно – выезжать с ними не с большого крыльца, а со двора. Посольство эмира благословенной Бухары не может…

– Я отпустил их, – и опять очень невежливо произнес свое слово этот самоуверенный Ахмадий. Видит Аллах, – не хочется гневаться, но этот почти старик в круглых стекляшках и с чалмою, похожей на хорезмийскую дыню, слишком независимо себя ведет. Люди, смотрящие со стороны те же самые, пугающие, русские могут забыть – кто тут первый посланник, кому почести отдавать.

– Но как это?.. Без почета, без конного окружения… Что подумают о людях великого эмира Музаффара?

– А ничего! – уж совсем беззаботно отмахнулся Дониш, тяжело качнув головой. – Нас никто не увидит. Я приказал завесить оконца кареты непрозрачною тканью. Едем же не во дворец, зачем, чтобы видели? «Кунсткамора», – еще одно слово, выученное им, – да, «кунсткамора» ни во всадниках, ни в глашатаях не нуждается.

– Тогда я не еду, – твердо, стараясь подчеркнуть неудовольствие старшего, произнес Абдулкадыр-дадхо, начальник бухарской миссии, первый посланник.

Ахмад понял это неудовольствие, но, спиной отходя к дверям, поклонился не очень низко. Так кланялись всякие придворные русские в старинном, ими некогда тщательно вытанцовываемом менуэте.

– Что ж… Там нет золотых вещей, – сказал он, все-таки не поднимая глаз. – Но только есть такие чудесные редкости, которых никому не случалось видеть даже и в сокровищницах турецкого султана.

Абдулкадыр-дадхо отвернулся.

Его Величество – эмир Музаффар, перед самым сюда их отъездом, тайно отведя в потайную же комнату – в зеленых коврах и с зелеными цветами по расписным стенам, – почти уткнув свое узкое лицо в полы халата Абдулкадыра-дадхо, назидал посланника, дыша на него розовым благовонным маслом: «Мой посланник, надеюсь, не сделается болтлив перед лицом этих русских. Пусть даже и самого белого царя. Он не осквернит ненужными словами свое пребывание там, и мое пребывание здесь, в Бухаре. В посланниковом молчании Петербург должен одновременно увидеть и покорное молчание моей Бухары, пусть и не павшей им под ноги, как Ташкент, и скрытое отторжение от них, пришедших в Азию незваною силою… А скажешь лишнее слово – нарушишь всякое равновесие. Петербургские уши обязательно услышат одно: либо покорность, либо все наше недовольство ими. Самое сладкое ваше слово будет истолковано именно так. Что – опасно. Резких же слов совсем быть не может. Нам до нужной поры, время которой сегодня видит и ведает один лишь Аллах – Велик Он и Славен! – следует только молчать. И вы – молчите… В молчании и наша мудрость и вся наша дипломатия. Важность молчания – посланникова сила. Посол не должен уметь ответить, когда его спрашивают. А если он может, то пусть лучше сам спрашивает, но только не отвечает ни письменно, ни устно, а то – не приведи Аллах! – противник заметит слабость нашего государства…».

Он притянул Абдулкадыра-дадхо за полу халата еще поближе: «И за большеголовым смотрите. Он умен, но – не знающ. Знающ, но – не умен. Он там узнает много такого, чего никогда не узнаете вы, мой господин посланник. Пусть узнаёт. Не останавливайте. Нужное – возьмем себе. На ненужное закроем глаза. Верно?»

Абдулкадыр-дадхо почтительно наклонил голову…

«Однако же и ему следует вести себя молчаливо. Попробуйте не уследить!»

Сощурив глаза, эмир Музаффар тогда так оттолкнул Абдулкадыра-дадхо, что голова назначенного посланника не успела за оттолкнутым телом и мотнулась туда-сюда… Ей сделалось страшно, как всегда, – и сегодня, и во все изжитые времена – было страшно всякой самостоятельной голове в жарком Бухарском эмирате.

Снег похолоднел, стал настойчивей. Теперь он уже стучал, царапался и карябался – просился войти.

Абдулкадыр-дадхо поежился, почти ощутив, как этот снег с налету примется колоть его лицо, выйди он наружу на эту Большую Морскую.

Две женщины продолжали стоять и болтать почти что под самыми окнами. Беспокоя, почти раздражая. Изредка, выпрастывая руки из маленьких черных шелком поблескивающих муфт, они машинально сбивали снег со своих шапочек.

Нет, русским только лишь за теплом далеко уходить не надо… Значит, – за чем-то другим? За золотом, как всегда и всюду? Аллах ведает.

Белая мостовая внизу, чистая, как блестящий шелк, только изредка напитывалась желтыми пятнами, растворяя в себя круглые катыши лошадиного навоза. Из арки, ведущей со внутреннего двора, отчего-то все еще не выезжали. Белый, все утолщающийся шелк оставался непорочным. Таким бы вот ему и всегда оставаться, да не останется.

Щеки женщин сделались мокры от розовой зимней разгоряченности. Их захотелось поцеловать.

Поглядывая в просвет проезда на главную улицу, второй по значимости в посольстве, посланник Ахмадий Дониш подергивал плечами от стылого воздуха, накопленного внутри кареты, молчаливо вслушиваясь в который раз повторяемые сетования переводчика Казимбека. Драгоман не умел предопределять события и страдал неполитическим нетерпением:

– И чего все ждем да ждем? Застудимся, господин посол. Может, все-таки стронемся?.. Сами же указали, что тот отказался поехать…

– Потерпите, уважаемый… Он сейчас снизойдет…

– Вы читаете мысли своего начальника?

– Я читаю мысли приставленных ко мне людей…

Снег, набирая силу, все шелестел и шелестел по тонкому дереву крытой кареты.

Ахмад Дониш терпеливо отмалчивался.

Женщины за окном комнат в последний раз хохотнули и разошлись, натаптывая маленькие следы.

Абдулкадыр-дадхо хлопнул в ладоши, приказав одеваться.

Болела шея, скрученная долгим смотрением за чужие стекла. Тяжелила голову громадная шапка с густо зеленым бархатным верхом, отороченная густым лисьим мехом: пушисто-длинный ее хвост искристо переливался померанцевым цветом.

Зима 1874 года в столичном Санкт-Петербурге оказывалась ни то ни се. Берегла посланников от морозов, что ли? Весь январь только и хлюпала оттепельными лужами.

Снег шел бестолково, как будто ни для чего.

Кунсткамера. Желтые младенцы и черное ружье – карамультук [1]

Скрюченные желтые уродцы, подрагивая от прислушивания к чужим шагам, шевелились медленным шевелением, плавая в мутных спиртовых жидкостях своих круглых стеклянных гробов.

Ахмаду они не нравились еще с прошлого – в 1858 году – их посещения. Они были худшее из того, что он обнаруживал для себя и других в петербургской Кунсткамере. Зато нынешнему посланникову – в первый раз любопытствующему – взгляду, они весьма приглянулись. Он то подходил к ним поближе, притоптывая сапогом по твердому полу, то отходил назад, опять не позабыв пристукнуть крепенькими каблуками…

Уродцы младенческого возраста – с двумя головами, с тоненькими свиными хвостиками, проклюнувшимися над ангельскими, но картофельно-сморщенными их

[1] Мультук, карамультук («кара» – «черное». узб.) – фитильное ружье, используемое в Средней Азии, в Афганистане, Персии и Тибете (XVIII-XIX вв.).

задницами, со своими излишними пальцами или же вовсе без оных, от такого пристукивания делали живое шевеление в закупоренных банках и радовали Абдулкадыра-дадхо своим мертвым оживлением. Одно лишь тяжелое, обшитое потрескавшейся черною кожей кресло, приткнутое к углу, безмолвствовало.

При всяком таком испытывающем подпрыгивании серенький сюртучок старика-смотрителя оказывался возле черного сюртука переводчика Казимбека. Старичок вздрагивал от собственного страха, сопровождавшего такое – недостойное его – соприкосновение с господами интересующимися, но все-таки дергал за рукав драгомана и прошептывал недовольные слова почти в самое его ухо.

– О чем он говорит? – не оборачивая тяжелой головы и не переставая с иронией поглядывать на движения Абдулкадыра-дадхо, спросил Ахмад.

– Боится, что посланник чего-нибудь разобьет.

– Пусть уходит, – поморщился Ахмад. Ему не понравилось такое неуважение, явленное всего лишь в предчувствии поступка, но никак не при совершении его.

Оказалось, что старый серый сюртук в своих наглых словах пошел еще дальше.

– Еще говорит, что никак не уйдет. Поскольку приставлен доглядывать – как бы кто не унес с собою какую-либо понравившуюся ему штуку.

Пальцы Дониша зашевелились как-то сами по себе, сжимаясь и разжимаясь. Будто придушивали кого-то:

– Должно, в колодках не сиживал или не порот еще… В Бухаре бы однако… – Он остановил себя и постарался произнести серьезную фразу, более достойную дипломата. – Переведите ему, что перед ним – люди государственные. Посольские. О них и самому государю Российскому общеизвестно. И их поведение, применительно к званию, всегда достойно.

Казимбек сдвинул брови, перевел строго. Но, получив ответ, рассмеялся:

– Смел старик! Ничего не боится. Отвечает, что от людей государственных всегда всякой кунсткамере самый убыток и есть. Они, конечно, никак не воруют. И не живут каким-нибудь тайным для этого действием… Но они, когда хотят, тогда и дарят на сторону, что кому понравилось. Чем важней господин, чем важнее их светлости, тем многочисленней за ним водится таких вот желаний. От иных из осматривающих кое-что и припрятать не грех. Три раза резной костяной шар из Китая за штору клал, задвигая. В закутки разные схоранивал. А не углядел. Нет шара. Говорят, во двор государев доставлено. Взяли на временное посмотрение. Да, видно, так его там и прикормили. А шар важный был. Весь из мелкой работы, из резьбы. И еще из других пяти штук внутри него, непонятно как туда помещенных, и двигающихся там независимо.

– Таких чудес у нас не увидишь…

Ахмад не сразу понял, что переставший подпрыгивать и подошедший к нему Абдулкадыр-дадхо говорит не о китайском шаре, а об этих желтых младенцах. Щеки разгоряченного удовольствием Абдулкадыра-дадхо не порозовели, как у светлокожих здешних людей, но потемнели до мягкой коричневатости.

– Таких уродцев? И – в Бухаре?.. – все же сообразив, о чем печалится посланник, вопросом ответил Ахмад. – Вот и хорошо, что Аллах не допустил этого.

Абдулкадыр-дадхо, похоже, не согласился. Любовным взглядом он скользнул по замершим бутылям:

– Эти чудные научные изобретения могли бы лучше сур из Корана убедить наших женщин держаться подальше от греха. Пришло бы вечное понимание – чем Аллах награждает согрешивших. Они бы узнали…

– Согрешившие знают. Только они выставляют свой грех на глаза посторонних…

– О грехах человека должны знать все. Таков закон общей жизни.

– О грехах – да! Но о глупостях?.. – передернул плечами Ахмад Дониш. – Ска-

жем, – кто вступает в брак ради детей, видит, что у его соседей прекрасные дети. Из-за самовлюбленности, в силу которой многие высокомерные глупцы не видят своих недостатков и пороков, считая праведными все свои слова и поступки, он воображает: «Если и я женюсь, то, при моем уме и дарованиях, мой сын может стать главою города, лучшим хакимом, а то и Абу-Али ибн Сина нашего времени… Ведь вон у того дурака – сын какой умница!».

А как женится, сын у него выходит непутевым и жуликом из-за путаницы дозволенного и запретного в материальных делах. Да и из-за неуместных разговоров и несвоевременных супружеских сношений. Потому что, когда в благоприятный момент, муж ищет сближения, жена в это время, по неозвучаемым здесь причинам, расстроена и не дается мужу, или приводит какое-нибудь законное оправдание. А в злополучную минуту, когда по закону шариата надо соблюдать осторожность, и когда муж испытывает к жене отвращение, она подстрекает его на это… И, в конце концов, рождаются те, которым лучше бы не появляться на свет. Поэтому несчастья детей большей частью происходят из-за нечистоплотности родителей…[1] .

Разговор казался серьезным, но на самом деле был пуст, как истраченные в дороге сморщенные горбы караванных верблюдов, вступивших после пустынного пути в домашнюю пыль чужих пока для бухарцев улочек Оренбурга.[2]

Мир видится скучным не потому, что таков сам по себе, но из-за того, что ты смотрел на него не с тем человеком.

Кунсткамера была переполнена уродцами, а потому – мало рассказывала о вокруг существующем настоящем.

Ни о той, что изо дня в день тянулась влажным туманом по камням и улочек и проспектов мокрого Петербурга, ни, уж конечно, о той, что – как вспоминалось – существовала за расплавленным горизонтом. Две реально существовавших жизни обретались так далеко, так отторгнуто друг от друга, что – находясь в одной из них – ты вторую видел словно бы в домысленном приснившемся мираже. Они не взаимопроникали, и оттого – предстательствовали пред любопытствующими людьми вроде тоже мертвых, изблеванных понятною близкой жизнью, уродцев.

Только две азиатские штуки, невесть как сюда попавшие, невесть кем сюда, в Кунсткамеру, притащенные, как представилось Большеголовому Ахмаду, что-то все же нашептывали любопытствующим и о любимой им родине. Но шепот этот столь же отдавал мертвечиной, что и младенцы, купающиеся в мутнеющем спирту.

Первый отживший шепот щекотал ноздри равнодушною шерстяной пылью, накопленной между сухим и неживым волосом туранского тигра.

Когда однажды еще юный Ахмад охотился на совершенно такого же зверя в тугаях возле ничего не значащего городка Ташкента, он и представить не мог, что вся эта мощь, железным узлом перевитых тигриных мускулов, смертельных для всякого попавшего между ними, что весь этот солнечно-желтый и коричневый блеск лоснящейся шерсти, способен погаснуть, иссохнуть и умереть. Как умирает солнце, само себя погубившее, отраженное в высыхающей во мгновение ока лужице воды, случайно выплеснутой на камни...

Рыхлое чучело туранского тигра затиснуто темнело в самом углу дурно пахнущей комнаты, переполненной пристреленными или придушенными животными и птицами. Молчащими. Отовсюду натащенными сюда для лицезрелищной человечьей забавы. Вздутые соломой ли, сеном ли, гнилыми ли тряпками, набитыми в животы, они следили за проходящими мимо них людьми, напоминая выражением своих стеклянных глаз о времени предстоящего Страшного суда, когда – быть может – и им тоже будет предоставлено обвиняющее слово…

---

[1]См.: Ахмад Дониш. «О правилах супружеской жизни и вражде свекрови».

[2]В XVII – XIX веках форпост России на ее юго-восточных рубежах. Центр караванных путей из Средней Азии и Казахстана. Сыграл огромную роль в присоединения этих областей к Русскому государству.

Штукой второю, огорчившей Дониша своим, тоже обиженным, шепотком, стал мультук, сиротливо повисший на обтерханной тонкой веревке, подвязанной к стволу и прикладу вместо кожаного ружейного русского ремня. Ею же, но уже твердым ровным рядком, к ложе ружья был плотно примотан и темный ствол. Всего лишь – карамультук, до дорогого ружья не дотягивающий. «Черные ружья», обычно приходящие в азиатские места с Афганских гор, а то даже из Персии, вытесненные новыми образцами и сосланные в его, Дониша, горы и пески: нате вам, братья-мусульмане, теперь и вы фитили запаливайте…

И – запаливали, и палили. С грохотом от взрывающегося пороха, со вспышками вверх и в правую сторону белого огня, взорванного тлеющим веревочным фитилем.

Ночами же особенно раскатывались громом рыгающие древние кочевничьи мультуки. И разбрызгивали огонь во все стороны. Нечасто, как всегда казалось, тяжелыми пулями попадая в зверей на горной охоте, и – слишком часто, как тоже казалось, в живых людей из чуждых им степных караванов.

Из вот таких уж точно мультуков били и по ним, деловито недавно бредущим к Оренбургу через серые барханные пески на юге Хорезма. Попадая в похудевшеребристые от долгого передвижения бока верблюдов, разрывая сухую и пыльную кожу, вдребезги и в щепу разбивая сундуки с подарками царю Александру и с сухими лепешками дорожной еды. Бурдюки лопались от разбойничьих пуль почти бесшумно, выплескивая недолго журчащую воду тонкой струею вниз, как это делали перед тем, еще не разорванные пулями, несущие все верблюды.

Все это были «карамультуки» – «черные ружья». Отличающиеся от себе подобных черною же, как правило, – разбойничьей кровяною работой. Предназначенной для поддержания жизни кочевых – даже без всяких подножных трав существующих, – высохших людей. Прилепившихся к подножиям гор из острых камней и к душным просторам тяжелых песков. Ничего от сотворения мира не производящим. Пустых, как кожаные, похожие на все те же простреленные и вытекшие – только уж от бесполезного женского существования, а не от пуль – груди старух. С кожею, не менее жесткой, чем у их собственных верблюдов.

Со дна души пузырьками воздуха, оторвавшихся невесть откуда и – в покачивании – всплывающих на поверхность, поднималась не объяснимая пока тоска неудовольствия.

Желтые младенцы, успокоившись, отдыхали.

Абдулкадыр-дадхо внимательно взглядывал на Дониша, не понимая меняющегося выражения его лица: о чем говорит серенький смотритель в сереньком сюртуке – с уверенностью догадывался, а о чем думал второй после него человек посольства – не понимал. Дознается, конечно, попозже. Теперь же, глотнув пыль, отомкнул специально искривленную дверь большого земного глобуса и втиснулся внутрь на особую скамеечку. Сидя на ней и задрав голову, можно было до удовольствия разглядывать всю небесную, над Петербургом изнанкою вывернутую, звездную сферу, играя в догадку – какая из сцепленных в кучку звезд, то есть – какая намалеванная над головою картина имеет схожесть с картиною, например, звезд бухарских, или – одинаково допустим – ташкентских. Одинаковые находились, но были испорчены здешними северными переворотами – иные опрокинулись слева направо, иные наоборот. А в самом-то деле, в истинном, Аллахом сотворенном, – велик Он и славен! – небесном эмирате, быть может, таких, затмевающих похожесть звездных переворотов и не было. Это лишь здесь, – чтоб одинаковости у Санкт-Петербурга с другим миром не получилось, так художниками нарочно поделано. Не равнять же им Петербург с его Бухарою или же еще с иными разными городами…

Мысль шевелилась глупая и появилась у Абдулкадыра-дадхо только для того, чтобы объяснить эту северную непохожесть и поторопиться дальше – объяснять мно-

гие другие, обступившие их посольство всякие непохожести: от житейских до политических.

Какие же это свои мысли, шевеля бровями и пряча глаза за приобретенными стеклышками, прятал Ахмадий Дониш?

Лучистые звезды, соединенные тонкими линиями в рисунок небесной сферы, в ее созвездия, дышали на него пересохшею краской и – Кораном настрого запрещенной – получившейся плотью обрисованных живых существ. Летели остроносые птицы, вроде – лайлаки, ширококрылые журавли. Лучник пускал стрелу. Весы шевелили плоскими медными чашками. Медведь вползал в самую сердцевину изнутри вывернутого, выпуклого глобуса. И какая-то дева, не стыдясь никого, весело тараща глаза, нависала над ним с такой, мастерами-художниками наведенною грудью, что эта ее грудь показалась Абдулкадыру-дадхо заманчивей и аппетитнее всех других, допрежь им виденных у собственных жен. Петербургские маляры, хорошо, видно, знающие и рисовальную науку, и – повод подавшую – науку любовную, весьма постарались в телесной росписи.

Голубой глобус скрипел и покачивался от внутреннего в нем шевеления: от желтых младенцев перенеслось.

Старый сюртук, обреченный на беспокойство, вздрагивал. Озабоченная его ручка вщипывалась в рукав невозмутимого Казимбека.

Ахмад Дониш все еще думал о черных ружьях. Они, как черные люди-рабы, безмолвны в работе, потому как тихо работают на других, хотя и существуют в собственном огненном грохоте. Они исполняют свое поручение – убивать то, что им препоручено человеком: людей ли, зверье ли…

Было б живое. До соприкосновения с пулями, насквозь пробивающими.

Карамультук безропотен, но не бездумен. Живет по правилам даже в разбойничьих руках. «Рисалля» – закон стрельбы из такого черного ружья. Даже и для них. Он конкретен, точен, определен.

Память не подводила Дониша. Нужное слово он помнил до буковки, выведенной на всякой, скрючивающейся от времени, рукописи, сделанной изысканным почерком куфи.

Невидимый свиток развертывался перед его глазами, поскрипывая, словно кожаное седло:

«В свое время архангел получил повеление из Сидратыл-Мунтага, из четвертого неба, принести кусок железа. Когда железо было принесено, Аллах повелел пророку Давиду[1] изготовить ружье. Богатырь Исмаил-Руми сделал ложе, вместе с пророком Давидом они подняли ружье и выстрелили в сторону кяфиров. Кяфиры, увидя это, обратились в бегство».

Закон страшен неисполнением, – улыбнувшись самому себе, продолжил вспоминать текст Ахмад Дониш. – В нем воля Аллаха, разъясненная людям словами, приспособленными и для малых неразумных детей: «Если спросят тебя, от кого пошла стрельба из ружья, отвечай: от Пахлавана Исмаила-Руми. От него это искусство перешло к Пахлавану Уста-Саиду-Карши, от него к Пахлавану Уста-Азису-Тавризи, от него к Пахлавану Уста-Аазаму-Кермани, потом к Пахлавану Низамиддину-Богдади, от него к Пахлавану Ахмаду-Замджи. И от Хазрета Ахмада-Замджи искусство стрелять из ружей распространилось по всему миру; раньше же стреляли только из пушек».

«Здесь что-то напутано», – подумал Дониш.

Но он был точен даже и в самом себе. Не изменял чужих слов и действий даже и в памяти. Мог лишь добавить к ним свои собственные, разъясняющие суть, да еще так истинно, что от самой сути мало чего оставалось…

У Хазрета Ахмада-Замджи было триста учеников; все они, один за другим, по-

[1] По «Рисалля» Давид считается родоначальником и изобретателем кузнечного ремесла.

дошли к одному холму, взяли по три горсти земли, принесли сосуд с водою, положили туда своими благословенными руками землю и, произнеся: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного…», – замесили глину. Они помолились, и их молитва была угодна Аллаху. Пахлаван Хазрет Ахмад-Замджи совершил такое чудо, что все триста пришли к одному соглашению относительно правил стрельбы из ружья.

Отныне, если спросят тебя, какой стих из Корана следует читать в то время, когда стрелок берет в руки ружье, отвечай: «Аллах Всесовершенное существо и владыка мира». Если спросят тебя, что следует произносить в то время, когда стрелок закидывает ружье за спину, отвечай: «Аллах – Царь Царей! И ля иляха илля Аллах, Мухаммад расуль Аллах!..»

Когда же спросят тебя, какой стих Корана следует произносить во время привязывания к поясу пороховницы, отвечай: «Помощь от Аллаха. Он, Щедрейший, – Аль-Кярим! – радеет верных».

Между тем главным пониманием жизни, каким владел Ахмадий Дониш, было понимание того, что между «черным ружьем» и намеченной для убийства цели всегда стоял, делающий это убийство, человек. И оттого, какие мысли оказывались вбитыми в голову стреляющего человека, и оттого, осталось ли после всего жизненного опыта в душе человека хотя бы мало-мальски свободное место, чтобы было куда притулиться его совести, замешанной на божественной справедливости, от единственно этого, пустого или же занятого места, зависело – справедлив или не справедлив человек в убийстве себе подобного.

Во время заряжания ружья порохом следует сказать: «Глухой, немой, слепой, они не возвращаются», а при вкладывании в ствол пули скажи: «Проглатывающий гнев, прощающий людей».

При зажимании фитиля в курок провозгласи: «О, знающий, о, щедрый». Когда кладешь палец на нижний конец куркового стержня, чтобы зажечь порох на затравке, произнеси: «О, скрывающий вину, грех прощающий, наказующий». Нажимание спуска должно сопровождаться словами: «Аллах любит добронравных». Во время производства выстрела пулей произносится: «О, сущий Аллах, это Свет».

Разматывающий нитки для фитиля стрелок должен сказать: «О, откликающийся, о, дарящий раньше, чем мы просим, прошу тебя, о, прощающий».

Даже (на хоть чуть-чуть заполненное) совестливое место если и не могло перевесить основное в человеке – животную тягу к непрерывному совершению убийства себе подобных, какую бы справедливость он в себе ни носил, – если и не могло, то хотя бы уравновешивало.

Русские, налетев на Ташкент, убивали тех, кто мешал им в него войти и там остаться. Пришельцам извне, конечно же, для чего-то подобное было нужно. Но ташкентцы, не мечтающие, чтобы русские незвано вошли в город и невесть на сколько лет в нем остались, убивали русских. Место совести оставалось пустым, незаполненным. На долгие годы вражда, бегая вокруг стреляющих «черных ружей», собираясь затаиться, запрятаться, запропасть, находила пустоту внутри человека и селилась там, невидимо укореняясь внутренне, покрываясь крышкою вынужденной улыбки.

Стрелок же стреляющий – учила «Рисалля» – должен был обладать следующими нравственными качествами: «щедростью, доброжелательностью, воздержанием, вежливостью».

От правоверного, но стреляющего мусульманина требовалось, чтобы он по отношению к сиротам был заботлив, и чтобы все, добытое ружьем, «тратил на пути Божием», в точности исполняя все религиозные свои обязанности со стороны догматической и религиозно-обрядовой, именем – таат. Ведь стрелковое дело зиждется на пяти повелениях и четырех нравственных опорах, к коим, обязательным для стрелка, причисляются «гостеприимство, раскаяние, молитва, пост и милосердие».

Карамультук подчиняется правилам убийства.

Простой мультук, по строению одинаковый, живет богдыханом. Этот независим, как степная птица в клетке: за прутьями не поет. Хороший мультук годами безмолвно висит в богатой чьей-нибудь комнате на ковровой стене. Зацепленный не веревкою на гвозде, но вымягченным кожаным ремнем, тешит себя покоем на особо для него вделанном крюке. Его приклад не гол, как бывает гол человек, входящий в хаммом – общественную баню. Деревянное тело его приклада одето в перламутровую инкрустацию и в медные пластины с неторопливо нарезанной надписью – строками из Корана.

Царственный мультук не пристрелян. И он не годится для соприкосновения со все выжигающим порохом, вспыхивающим от прикрученного тлеющего фитиля. Строки из Священной Книги не должны быть опалены пламенем или замутнены жирной гарью.

Парадный мультук не для душной кунсткамеры, словившей в себя нечто – прежде живое. Мультук мертв из-за навязанной ему нестреляющим, но обладающим человеком, и – не пригождающейся для боевого черного действия красоты. Он – для домашних комнат. Для не страшного никому внешнего украшения: цепной пес на умягченной ременной цепи.

Однако же за каждым мусульманином, владеющим всяким ружьем, «Рисалля» утверждает право службы во всех важных должностях и воспрещает исполнение низшей службы, то есть, – пешей[1]. И если кто-либо, кроме хана или бека, вздумает послать перед собою исполнять пешую службу стрелка, последовавшего этому наставлению, или имеющего при себе переписанную копию такого наставления, то – «…жена его разведена с ним; и, умирая, пусть он уходит без веры. Такому человеку, чтобы очистить его от грехов, следует дать восемьдесят ударов «дарра»[2].

Глобус резко качнулся, чуть-чуть не скатившись на размышляющего Дониша, Казимбека и старика-смотрителя. Абдулкадыр-дадхо спиною к ним покидал небесное мироздание.

– Итак… – произнес Абдулкадыр-дадхо, подходя к сотоварищам.

Он был осторожен, Абдулкадыр-дадхо. Он умело и вслух говорил заметные глупости, за которыми прятались потайные умные наблюдения, глубоко противоречащие прозвучавшему.

Неозвученная мысль всегда умнее произнесенной.

Что вспомнит хитрый драгоман Казимбек, непременно докладывающий по своему иностранному ведомству о словах, произнесенных азиатским посланником? А вспомнит он произнесенную глупость о желтых, шевелящихся в мутной густоте жидкостей младенцах, коих в таком вот виде нет в Бухаре, но быть которым в городе великого эмира следовало бы обязательно: для острастки.

Чего не вспомнит Казимбек, хотя бы и знающий и фарси, и староузбекский, и новый еще сравнительно молодой узбекский язык, явившийся для бытующего вокруг обыденного разговора? Ничего не вспомнит. Непроизнесенное осталось с ним, с Абдулкадыром-дадхо.

То есть, когда к важности молчания добавлено особое говорение впустую – важность дипломата, понятно, – умаляется. Но важность дипломатически проделанного события возвеличивается. К фирману эмира – более молчать, чем говорить, – он добавил свое дипломатическое усовершенствование: более говорить, чем молчать.

Не умолчали однажды перед этими русскими, зато и обиду с собой увезли обратно.

Случилось такое в прошлый еще приезд посольства бухарского в пропитанный излишней водою Петербург-город. В город, в самом себе тоже молчащий.

К 1868 году бурлящая Азия, после возникновения здесь русских, сделалась

[1] По «Рисалля» – конная служба считается почетной, а пешая – нет.
[2] Дарра – плеть из четырех ремней с небольшой ручкой.

почти тихою. Почти исчезла, поняв, что дующие в разные стороны и ханы, и бии[1], да и сам эмир никакой освобождающий мстительный ветер против русских ни только не надуют, но и просто очищающий ветерок не произведут, поскольку же не слились в едином – пусть даже и не в государственном – согласии. Стихли среди мягко-шелковистых розовых жен и сине-серебряных гнусавых павлинов, примолкли по уголкам тенистых дворцов под прожженными вечным солнцем невозмутимыми крышами. И отсиживались, обидно клеймя тех, кто не встал на защиту всех, но дожидался, пока сосед ослабнет, чтоб самому укрепиться. А – не произошло. Прошлись русские и по многим, так хитро дожидающимся чего-то. Сами подивились, что очень легко прошлись – и подмяв, и подчинив. С такими, а еще и со сторонними, до которых – по ненадобности – не добрались, разных союзнических бумаг наподписывали. Никто не запомнил – сколько.

Также и с Бухарою мирный договор сочинили в этом самом 1868 году.

Показалось бухарцам, что теперь, если с русскими и не братья, то уж соседи, наверняка. Надолго соседи. Ташкента, соседа прежнего, словно бы нет, да и не было вовсе. От Кокандского ханства зеленым ломтем отрезали. Самое время – от прихваченного русскими этого оазиса и себе немного, совсем чуть-чуть, попробовать приделить. Попутно и Бухаре назад возвратить прихваченные с наскока же ими, русскими, оторванные кусочки.

Границы эмирата, как пустынная жирно блестящая толстая змея, вертящаяся неразвитыми перекрученными кольцами. Выровненные границы и людей Бухаре принесут, и ушр[2] от земляных этих людей. Да и Коканду истинное политическое место покажут, и с чуждыми русскими своих жителей примирят. Ведь те к тому же перестанут бояться хараджа[3], так пока и не введенного… Не откажутся такие русские и от этого. Если, конечно, дружески попросить, объяснив все по-бухарски разумно. Коль не соберешься такое сделать самим, то соседи опередят уж точно… Но Аллах справедлив!

Однако же – Он, а не эти русские…

Даже одного приближения любого разговора в любом месте к совсем почти ничего для них не значащей теме закрывало их ласково разговаривающие рты. И в министерстве иностранных дел, и в отдельных – а потому имеющих влияние – великокняжеских домах, и в других важных стенах, через которые всякая мысль о всяком деле перетекала уже и в комнаты Зимнего, а то и какого-нибудь из Царскосельских дворцов. Русские не только не сделались союзническими теперь братьями, но и посоюзнически – какие там подписанные договора? – даже как соседи не приблизились. Таращили глаза, смотря через тебя на стену, где во вмонтированных зеркалах полированных черных дверей отражался обязательный портрет Александра II Николаевича, императорскими сапогами прохаживающийся по головам всякого, кто сидел за столом под ним, столь же полированным, что и двери. Уголками вздымали брови и начинали говорить про ненужное, обязательно выспрашивая про царственное здоровье Его Величества эмира бухарского – Музаффара. То есть тебя, их – не слыша. Разговаривая, тоже молчали.

Они не учились тому у Бухары, назидавшей так и нынешнее посольство. Как Бухара не училась и у Санкт-Петербурга… А только – одинаково жили: в своих интересах.

Впрочем, не одинаково. Россия могла бы, распутав и распрямив скользкие кольца пограничной змеи, сделать себе новых соседей еще и друзьями. За счет Коканда пока что.

Да все-таки, как теперь уверенно понимал в глубинах своей мысли посланник Абдулкадыр-дадхо, – ни соседями, ни друзьями отсюда из Петербурга еще не видели Бухару. Но только – малым дитем, их силою облагодетельствовано припоселившихся

[1] Бий – титул приближенных ханского дворца.
[2] Ушр – одна десятая часть, налог, взимаемый с урожая дехкан.
[3] Харадж – налог, взимаемый с завоеванных владений.

в Российской большой квартире. Снуют под ногами, чего-то просят, могут и вести себя неразумно, избалованно. Когда успели?.. Тогда и прикрикнуть.

Прикрикнули бессловесно, – не обратив внимания на ту прошлую просьбу утихшей теперь Бухары.

Быть бессловесным обидно. Ребенок не понимает – кто он есть. Государство, быть может, еще тоже в многовековых юнцах. Абдулкадыр-дадхо понимает, тоскуя внутри самого себя. И ночами ворочается, отталкиваясь от голой спины Зулайхо, от ее райхонного[1] запаха, думая через сон не о том, чтобы повернуть жену лицом к себе и чуть-чуть придавить собой ее теплую грудь, как это случалось в Бухаре почти во всякое утро…Солнце тогда все пыталось и пыталось пробиться сквозь трепещущие лиственные тени, чтобы тоже улечься на мягкую землю. Целиком же не удавалось. Рассыпалось на мелкие золотые пятна, на тысячи тысяч переливающихся солнечных зайчиков.

Петербургские окна влагой мутнели даже и изнутри. До самой дневной поры. Пока невидимый истопник, прячущийся где-то внутри комнат, не растапливал для посольских изразцовые печи.

Голая спина Зулайхо студила Абдулкадыра-дадхо больше сереньких непрозрачных стекол. Он натягивал на нее и на себя шелковую скользь одеяла. Зулайхо не просыпалась.

Может, и не зря обидел Аллах, чьи Щедрость и Величие велики – аль-Мааджид, северную плоскую землю, лишив ее тысячи тысяч солнечных зайчиков? Это бухарцы для здешних – как дети… Здешние же уверовали в свою завоеванную взрослость по отношению ко многим, если и не ко всем вообще. Вот и отмстилось…

Как бы да и не остаться среди них бессловесными, выбиться из-под навязанного им вдруг российского родительства.

Бессмысленно желание подрасти. Если древний народ столетиями живет в самом себе, и – не стал взрослым, – горе такому народу: живой он, а как будто бы мертвый. Если, однако, сумел подрасти до объединяющей старческой мудрости – ему уже нет нужды изменяться в чужую угоду. И если уж Аллах – испытывая – свел его с чужаками, – чтобы выжить и не погубить себя ему, народу, надо стену воздвигнуть отъединяющую, соединяя… Так, то есть, сделать, чтобы обрести вежливую взрослость, похожую на чтимую взрослость рядом стоящих. Теперь вот и с северо-запада, и с юго-востока нависающих русских.

Нет, народ в своей мудрости собою же и останется, – предопределенное Аллахом, человеку не изменить. Но им-то, посольским, так бы теперь изловчиться, чтобы во всем походить на привечающих их петербуржцев. Повзрослеть внешней видимостью. Стать такими, какими надо быть здесь. Чтоб приучить и приучиться к разговору на равных. Но неизменяемыми остаться там, вдалеке…

Вышел из дому – оделся. Теплый чапан на плечи от внешнего холода. Вошел в дом – да и скинул с плеч, здесь не нужную, согревающую одежду. Всякий вход-выход сквозь такую дверь – дипломатия. Соединяясь, отъединяешься.

Нет, мы должны научиться жить и в этом мире, неторопливо додумал он, подходя к ожидающим:

– Итак…

– Господин посланник доволен осмотром? – вежливо наклонив голову в его сторону и одновременно снимая со своего рукава, как нечто живое, но постороннее, как будто бы даже насекомное, вцепившиеся пальцы смотрителя, спросил Казимбек.

– Весьма, – лаконично ответил тот.

– Едем обратно? – уточнил Ахмад Дониш.

– Пожалуй, пора…

[1] Райхон – базилик.

Но Ахмаду еще следовало додумать расширяющуюся в неожиданных размышлениях об оружии, некоторую незаконченную мысль. И потому он решил еще больше сосредоточиться на ней. Такое следовало продолжать в одиночестве.

– Уважаемый господин посланник отправляется в резиденцию тем же свойством. Я, однако, пройдусь до нее пешком…

– С вашего дозволения?.. – тотчас произнес Казимбек, и все поняли, что он не оставит Ахмада Дониша в одиночестве. Ни по службе, ни по человеческому беспокойству о незнакомом человеке в незнакомом городе.

Донишу оставалось кивнуть.

Абдулкадыр-дадхо недовольно промолчал: в новый несчетный раз нарушался дипломатический протокол большеголовым Ахмадом.

Зашелестели тяжелые халаты, заскрипели сапоги Казимбека. И ступени лестниц защелкали под каблуками. Помягче – по мрамору. И позвончее – по черному железу. Бухарцы спускались…

– Теперь уж вылазь, – произнес странные слова старик-смотритель и поглядел в сторону черного кожаного кресла, задвинутого в угол. – Попрятался, да и хватит.

Кресло сдвинулось, будто от его взгляда, и из-за него вылез мальчишка с белесыми бровями и такими же снежными ресницами:

– Уже можно, дед? Не погонят?

– Они – нет. А я – погоню. Чужим здесь, в каморе, не должно шататься.

– Но я ведь тебе всего-то поисти принес…

– Принес, и – айда за ними… А то ведь и меня с места сгонят, когда узнают, что я кого-то приветил, хушь ты, Тимка, и внучок для меня.

Старик опустился в отодвинутое кресло и слегка повздыхал.

– Дед, а это кто был? Скоморохи?

– Чего?

– Ну, из цирка, что ли? Халаты у них как из золота. Будто клоуны. Такого не бывает.

– Дурень ты, Тимка… Важных людей от придуманных не отличаешь. То – дипломатические люди. А ты – клоуны… И шитье на них золотое, настоящее…

– Ну-у-у? – подивился Тимка. – Тогда я еще их погляжу.

И заторопился вослед, стуча по ступеням тихо, как получалось, да и двигаясь на отдалении. Под самый, опять пошедший, мокрый серенький снег.

Буквы-женщины. Буквы-скорпионы.

Когда чужому для них миру надоест держать страну в своих лапах, и он отпустит, и страна вдруг окажется наедине сама с собой, то – вполне возможно – она окажется страной, великолепно сохранившей собственное прошлое. Но от этого прошлого, вполне возможно, будет нести отсыревшими стенами. Стенами глинобитными и старыми, не годными для современной, обогнавшей страну, жизни.

Каменные стены петербургских линий, как понимал теперь Ахмад Дониш, вымачивались постоянно. Но промозглая влага не дышала здесь кислой сыростью внутреннего старения, не зеленела плесенью прошлого.

Самые холодные, секущие снегом, дожди только лишь вымывали из самоуверенных стен и горбящихся мостовых, из правильности ростральных колонн и из каменных шуб гранитных набережных все не нужные для жизни наслоения старости. Город оказывался вполне живым, пусть хоть и каменным. Неким индийским слоном, неким добродушным северным зверем, одновременно и тяжело стоящим на месте и – неторопливо ворочающимся под оживляющей, омолаживающей, хлещущей по нему холодной влагою, с умиротворенным удовольствием подставляя под нее то один, то другой бок.

Город выпячивал свою стройную молодость всеми стеклами многочисленных окон. Обещал все удовольствия юности порочными ликами албасты[1], искушающе таращимися отовсюду из-под поддерживаемых ими балконов. Раскрашивал однообразную серость своего омытого для любви тела разноцветно написанными, вовсе еще не выцветшими, буквами витрин.

Он же, Ахмад, вполне смог бы – горделиво зная так о самом себе – выписать и получше, и поярче, и поприметнее. Радужной легкостью цвета, изысканностью затейливого штриха и умением стройно вчертить одно в другое никто не владел в Бухаре лучше, чем он.

Ветер вдруг встрепенулся и понесся через город пастушеской собакой, разгоняющей низкие тучи, как серых овец. Набухшие влагой овцы в испуге прошмыгнули в простенки между домов, очистив пространство неба в прорезях между крыш, и затаились, зацепившись за горячие трубы.

Вывески засветились ярче, но веселее не стали. Все так же строжились ровными квадратами и полукружьями плохо изученных Ахмадом русских букв.

А как бы он мог их расцветить и разнообразить любимой им арабскою вязью... Буквенные арабески почерка «Зульф», «Сулс» или «Райхон» зарезвились бы по этим мокрым стенам, зажили бы своей самостоятельной витиеватой жизнью. Они легко смогли бы встроиться в ряды всяких вытянутых линией непрерывно бегущих букв – внешнего выражения красиво оформленной мысли. Они – порождая бесконечность – смогли бы легко описать и круги незнакомой жизни, как описывали вокруг изразцовых барабанов, поддерживающих купола мечетей и медресе в Бухаре, жизнь, им знакомую: золотое или черное на блестяще-голубом.

Одним из вариантов такой вселенской бесконечности, кружащейся вдоль стен взблескивающих барабанов, могли бы стать остроугольные начертания многосмысловых букв-скорпионов со вздернутыми вверх, готовыми смертельно уколоть иглами вскинутого к небесам особого росчерка. Множество пугающих игл, двигающихся след в след, порождало армию защищающих вечные смыслы философских и поэтических фраз, начертанных изразцами по изразцам, смертоносных духовных копий, издалека, одним своим присутствием умертвляющих несогласных.

Но точно также, исполненные иным почерком, они мгновенно облекались в мягкоту изменчивых женских форм, легко напоминая то одну, то другую соблазняющую часть сокрытого как будто бы женского тела. Но этим подчеркнутым сокрытием, этой умелою драпировкой лишь только подчеркивая смуглую плоть, открывая ее наружно как раз прилегшею плотно прозрачностью. Такими нежно очерченными буквами всегда выглядят жены и наложницы великого эмира Бухары, выходящие после купания из большого и квадратного, только что отпустившего их, бассейна во дворце. Белое полотно покрывал прилипало к прохладным телам именно в тех местах, которые по справедливости должно было прикрывать: к темным абрисам напрягшихся кругов, полукружий и треугольников, увлажненных взглядами и купанием.

И на еще более многое стремилась легко походить его любимая арабская вязь. Она легко обходила запреты Священного Корана и Хадисов, вырисовывая изгибами, покоренных его рукою, рукою художника и каллиграфа, – связью почти не изменяемых букв – очень многое и весьма живое. Пусть и неприемлемое. Обращая выписанную им фразу в нечто весьма материальное и трепещущее дыханием. В птицу ли, в дракона ли, в того же индийского, но – уже настоящего, слона, а то и во вздернувшего крутые рога тонконогого джейрана...

Освобожденное солнце по-воробьиному бросилось купаться, осколками отражений брызгаясь во всех лужах.

---

[1] Албасты́ – женские демонические персонажи в мифологии тюркских народов. Обычно представляются в виде страшных обнаженных женщин с желтыми волосами и обвисшей грудью.

Железные полозья, разбуженно повизгивая, резали и скребли торцовые мостовые, царапали скользкие их булыжники. Редкие, но все-таки еще бегающие каретные колеса достукивали остальное.

То есть уже сегодня истинный каллиграф Ахмадий Дониш смог бы, пожалуй, арабской же вязью вывести и всю эту мокрую плоскость широко разбросанного Санкт-Петербурга. И все эти буквы – алеф, ба, дэль, йа, заль и син, – легкою рябью сжимаемых волн, запокачивали бы на своих спинах видимые отовсюду невские корабли.

Не требующийся ни для какого говорения драгоман Казимбек щурился и – похоже – внутренне отдыхая, несолидно помаргивал.

Петербургские краски из людей и вывесок от неожиданного солнечного загляда разноцветно продолжали шуметь. Самая живая из них вдруг оказалась перед глазами.

– «Книжная лавка. Магазин Мозера», – перевел Казимбек.

Посланник Ахмад, соблюдая собственную почетность, важно кивнул, но все же – не удержав в себе предвкушения, сбился на торопливый шаг, распахивая согретые двери под звякнувшим колокольцем.

Худолицый чиновничек в шинельке с поднятым воротником замер, увидев вошедших. Но, замерев всем телом, рукою он все же продолжал вталкивать в полку стеллажа, стараясь вернуть на место только что им перелистываемую книгу. Книга упиралась, тыкалась в коричневые кожаные корешки недавних товарок, не находя своего прежнего места, – глаза из-под треснувшего козырька служебной фуражки смотрели в пораженном недоумении: кто такие?

Два других посетителя и не подумали оторваться от шуршащих страниц, – эти были из настоящих читателей, и никакой туркестанский халат даже самой большой азиатской важности не смог бы оторвать их торопливого пробега по рядкам теснящихся буковок. Два неотогревшихся носа – чуть красноватый и чуть синеватый – вроде живых указок двигались в торопливом чтении слева направо.

К такой направленности движения взгляд Дониша еще не привык, и – по привычке – он заскользил им со стороны правой на левую, будто читающий по-арабски.

Драгоман Казимбек шевельнулся было помочь, но толстый приказчик, торчащий над высокой конторкой со счетами перед ним, рукою остановил его.

«Что за день… – подумалось Казимбеку. – Сегодня все норовят меня потрогать…»

«Какая удивительная лавка, – подумал Дониш и – сообразив – взялся за книгу уже иначе, начав теперь читать с правильной стороны.

Книжная лавка и «Les Fleurs animees»

Мягко скрипнув хорошо выделанной кожей, выбранная им книга раскрылась теперь по-европейски.

Ее можно было и не читать. Ее можно было листать глазами, принюхиваясь расширяющимися от восторга ноздрями к запаху кожи и бумаги, к сладости черной краски на белоснежных страницах. А можно было листать и иначе: одними подушечками пальцев перебегая от одного золотого тиснения к другому, как по лицу любимой женщины. От мягкого кончика уха по жестким завиткам волос через тонко накрашенные брови по горбинке носа ко вспухшим губам…

– Я же говорил… – произнес ничего до этого не говоривший приказчик. – Человека, умеющего держать в руках манускрипт или неторопливо находить нужную книгу, я всегда отличаю от пустых людей.

Не согревшиеся до сих пор носы, пошмыгивая, по-прежнему продолжали читать любопытные для себя тексты. Однако произнесенные слова, похоже, отчего-то нельзя было к ним отнести.

Между тем плавное хождение Ахмада продолжалось. Пальцами от корешка к корешку. Всею ладонью – по мраморным обложкам, притесненным друг ко дружке. Узкими знающими глазами за отпотевшими стеклышками тяжелых очков по всем стеллажам общим разом. И даже своим туркестанским халатом, с благочестивой важностью проскальзывающим сквозь параллельные коричнево-черные стеллажи – не задевая их, чтоб не обеспокоить.

Выслеживая бумажную добычу, могущую его напитать небесполезною дальше жизнью, он отчасти даже как будто таился в этой своей плавной ищущей тишине, дабы ненароком не вспугнуть нечто особенно живое, стойкою сеттера, наконец, обмерев перед одним из столов с разноцветными альбомами.

Отмахнул ничего не значащую обложку. Переложил, переворачивая один за другим, раскрашенные листы справа налево.

Переливающиеся перьями птицы щебетали, радуясь неземному сотворению. Перламутровые цветы оплетали изумрудными листьями небесную, в земной траве отраженную синь. Гибкие звери, прыжком бросающиеся на добычу и – обреченно – становясь одновременной же добычей иных, жили не в ужасе чужой и собственной смерти, но в счастье честной борьбы, чтобы съесть или быть съеденными.

Они походили на людей, но, однако, не переполнялись ни большою злостью, ни мелкою местью – смертью за смерть, обидой за обиду. Звери виделись в радуге тонких рисунков совсем почти что по-человечески. Человек же, втиснутый в их образ, становился более животным, чем он есть: верхом создания.

Перелистывая, следовало разобраться, – в чем здесь ошибка?

Вытянув руки перед собой, Ахмад проследовал мимо всех со своею добычей, похоже, еще трепетавшей после его прикосновения к ней. Положил на конторку рядом со счетами и вопросительно посмотрел на Казимбека. Приказчик, опередив вопрос, что-то тихо сказал драгоману. Драгоман покраснел:

– Ему неудобно, но он говорит, что это очень-очень дорогие альбомы, Ручная раскраска. Называются: «Les animaux peints par euxmemes» и «Les Fleurs animees»[1]. У них царская цена…

Ахмад Дониш молча кивнул и медленно-медленно сначала распахнул первый халат, сказкой для глаз обнаружив под ним еще и второй, не парадный, но все же торжественный – белопарчовый.

Развязав на поясе шелковый бельбаг – платок, перепоясывающий снежно-взблескивающую парчу, он разложил его вдоль всей конторки и принялся разворачивать, похоже, еще к тому же и тяжелую, эту трубчатую колбасу.

Чиновничек, перестав мучить книгу, уставился на необычную, являющуюся общему взору картину. Бухарские таньга и динары, русские рубли в бумажках и монетах из золота, серебра и меди вытянулись чешуйчатой змеиною лентой вдоль развернутого платка.

Выпав из его рук, так и не засунутая книга хлопнулась об пол.

Отогревшиеся носы, резким звуком пробудившиеся от чтения, обернулись в нужную сторону, чтобы убедиться, – происходящее перед ними наяву не интереснее ли только что вычитанного, сползшего со страниц?

Оборачивая альбомы, приказчик то бледнел, то краснел. Его жилистые руки суетились до дрожи. Бечевка, обвязывающая купленное сокровище, дергалась в перенапряжении и рвалась. Пришлось уложить ее вдвое.

– О чем это он? – поинтересовался Ахмад у отсчитывающего нужные деньги Казимбека.

---

[1] Гранвиль. «Les animaux peints par euxmemes» («Животные, себя живописующие») 1842. Редуте. «Les Fleurs animees» («Цветы одухотворенные») 1846. Изображения цветов. Листы отдельные, гравированные в красках.

– Мучается, что ему попадет от хозяина лавки. Тот очень любит альбомы. И, не рассчитывая, что их кто-нибудь купит, держал для своего удовольствия, рассматривая всякий раз после церковного причастия…

«Странные люди», – думал Ахмадий Дониш, под прощальный звук брякнувшего колокольчика, выходя на заметно подмерзшую улицу.

«Странные люди. Хорошие люди».

Ахмаду нравился этот неторопливо дышащий город с его торопливо бегущими – то обгоняя, то скользя навстречу – редкими сейчас деловыми людьми. С довершающими дневную службу чиновниками да с какими-то, будто кем-то вспугнутыми, толсто поддетыми разноцветными салопницами. Тоже – точно буквицы для витрины. А еще, высоко вздернув носы, прошагивали мимо разные артельные люди: обычно во всегда одинаково обмятых – общим для всех небрежением – картузах. А то и купцы – совсем не любящие сворачивать в сторону, кого-либо пропуская мимо себя. Такую их важность требовалось обходить.

Удивительно, но они, – конечно, хорошие обычные люди, – однако, не обращали на двух человек, перепрыгивающих через те же самые лужи, что и они, никакого откровенного внимания. Полосатый туркестанский халат то ли оказывался привычен в столичном царственно-торговом городе Санкт-Петербурге – Мекке для всех и вся, то ли – наоборот – пугал непохожестью, настораживал и на всякий случай заставлял отводить глаза.

Впрочем – не всех. Беловолосый мальчишка, мгновенно прицеплявшийся к каждой ровно следующей мимо них карете, к каждому возку, а то и просто изо всех сил бегущий следом, когда не удавалось пристроиться, обгонял их и спрыгивал на мостовую как раз перед идущими, едва не забрызгивая. Останавливался, обмирал восторженно-недоуменно и глядел на них не отворачиваясь, пока они не проходили мимо. Затем опять прицеплялся, обгонял, останавливался, чтобы и еще посмотреть.

Драгоман Казимбек, отвечающий и за внешнее спокойствие посольских людей, дернулся было угрожающе показать кулак. Но Дониш перехватил его руку снова у рукава, будто тот музейный старик в сюртуке. А сделав так, еще и вежливо поклонился белобрысому юнцу. Мальчишка же, увидев подобное действо, даже не подозревавший, что оно может случиться с ним, совсем замер остолбенело и больше не догонял.

Нет, это не земля – седьмое небо это:
Тут что ни здание – звезда или комета!
Не знают темноты здесь ночи, – словно дни…
Тут светом в пузырях проезды освещают,
А люди от светил себя не отличают,
Столь дивны и чарующи они[1]*.*

«Хорошие люди», – продолжал думать Ахмад.

Зналось бы ему, что он тоже думал о том же, о чем сегодня же размышлял и сам Абдулкадыр-дадхо, но – по-другому…

Хорошие люди промелькивали, прошмыгивали мимо него и, может быть, этим лишали Ахмада возможности вглядеться, чтобы представить какого-нибудь из них, пришедшего вот недавно, вот только-только – в Ташкент, в Самарканд… Отчасти и в Бухару. И стреляющих, стреляющих, стреляющих… «Черное ружье» в руках правоверного мусульманина приобретает душеспасительное назначение: «Пусть стрелок обратится в сторону цели и выстрелит один раз пулей. Попадет или не попадет пуля в цель, это не важно; стрелок же в момент выстрела соединяется с Аллахом».

Но это у нас, у мусульман… Неужели же у пришедших к нам русских – все по-другому? Все иначе?

[1] Ахмад Дониш. Стихотворение во славу Санкт-Петербурга. Перевод Ильи Сельвинского.

Аллах – велик Он и славен! – несомненно же, ведает, что и у них, у стреляющих русских, тоже должна существовать некая собственная «Рисалля». И в ней должно же быть сказано нечто похожее, общее: поясняющее, разъясняющее, объединяющее.

На вопрос: что составляет правую сторону ружья? – стрелок отвечает: «Правая сторона – это хороший нрав стрелка». А левую? «Открывание света».

Быть может, дело в том, что существуй для всех общая «Рисалля», первую половину такой вот фразы одинаково понимали бы все. А вторую?

В чем этот «свет»? Что подразумевается под «его открыванием»?

Не тот ли это невидимый свет, который закладывается в человека при его рождении?

Все становится ясным в то мгновение, когда раскрывшееся тело одного человека являет в мир тело другого. Оно же, другое, не может ведь входить в сложный для себя мир лишь пустой человеческой оболочкой. Но и чтобы сразу быть наполненной знаниями или же опытом, оно также не имеет еще необходимости, поскольку обретение всего этого означает одно: неизбежную смерть от постигнутой жизни. Потому-то вносится во всякого новорожденного только одно – свет, называемый русскими душою.

Воссияй тот свет от соприкосновения с миром, сотворенным Аллахом, образуется истинный человек. Не загаснет от необходимого соприкосновения с мерзостями ее, – спасется человек. А спасется сам – и другим путь протопчет. С молитвою о сохранении света души.

«Если стрелок не будет знать этого наставления, или, переписав его, не будет хранить при себе, или не будет каждую пятницу просить кого-нибудь читать себе вслух это наставление, а сам не будет внимательно слушать, то его постигнет наказание. А именно: что бы он ни съел из мяса застреленных из ружья птиц или зверей, все это будет для него поганее свиного мяса. И в день Страшного суда лицо такого человека будет черным, ангелы проклянут такого человека в день Страшного суда и ввергнут его в ад, называемый геенной, потому что из этого мира в тот он перейдет без веры».

«Черное» ли ружье, иное ли какое, а – стреляет…

Если же предположить, что всё ими, стреляющими и в людей, делается с подобною же молитвой, если допустить, что у каждого воина из войска белого русского царя в правилах воинской жизни существует своя «Рисалля», то получается нечто странное, объясняемое лишь только тем, что чужая, русская «Рисалля» хуже их собственной, мусульманской. Только так и получается.

Стреляют много. Сыплют порох на полку – или у русских ружья устроены иначе? – взводят курок, и…

Со своей верою в душе, со своим светом.

Но что, если и здесь не так? Ведь – все видит великий Аллах, Милостивый ко всем на этом свете – ар-Рахман, имеющий обо всем же и попечение, – выстрелов-то, возможно, что и больше, чем верующих людей. И никакими молитвами, тем более, никакими назиданиями они не остановлены и их не остановить. Стреляют, чтобы охранить себя от чужого. Стреляют, чтобы не подпустить чужое близко к себе.

Стреляя, движутся то на Восток, то на Запад, чтобы отодвинуть от себя как можно дальше всё, мешающее им понимать мир иначе, чем понимают они.

Молитвами не остановить?

Тогда выходит одно… Надо сделать чужое – своим. А себя – понимающим чужое.

То есть надо лучшее из чужой жизни ввести в свою жизнь, заменив худшее из своего. Давно плохое – на лучшее, из обретенного у других, у тех же русских. Им же преподнести свое собственное, чтобы оно перестало видеться ими чужим.

Тонкий стебелек – в будущем толстого – дерева следует поливать. Начав тоненькой водяной ниточкой из кумгана. Продолжив, когда живое в новую землю вкоренится, многими кожаными ведрами и бурдюками. Так на так. На равных. Не иначе. Тогда и в кунсткамере Санкт-Петербурга от Бухары и Самарканда многое прибудет. Не останутся комнаты с их именем в пустоте. Тогда и в Самарканд, в Бухару свезено будет и отсюда, от России, то нужное, что того стоит…Кто первый испросит?

– Если господину посланнику будет угодно, я хотел бы сказать о важном…

Казимбек, не сбавляя шага, на ходу поклонился.

– Да, – ответствовал, пока не прислушиваясь, Ахмад Дониш.

– Приезжал сюда посол из Кашгара…

– Да? – сразу насторожившись, повторил Ахмад.

Раскатившись по мокрым, парующим теплою влагой торцам, вдруг вылетела из-за угла доходного дома карета посланника Абдулкадыра-дадхо.

Ахмад дернулся телом, – нужно было успеть выхватить из-под взвизгнувших железом колес раскатившейся поперек дороги кареты все так же остолбенело торчащего мальчишку. Да тот и сам успел увернуться.

Возница, едва ли не воздвигнув коней на дыбки, брызгая грязью, остановился, чуть обогнав.

Пушистый хвост померанцевого лисьего цвета вывесился из-за раскрытой дверцы. Улыбающийся первый посланник, распахнув ее, поманил беседующих.

«Испугался, что ему не станет известно, о чем мы тут говорили», – поморщился Ахмад и – остановился:

– Итак?

Казимбек, понимающе, тоже попридержал свой шаг:

– Посол из Кашгара написал в восхваление Петербурга несколько бейтов. Я их перевел и представил царю, и тот был очень доволен.

Мальчишка вертел головой то туда, то сюда, не понимая – чего приключилось?

– Вот бы и вам, бухарцам…

– Да?.. – повторив самого себя, произнес Ахмад. – Думаю, господину драгоману лучше всего сейчас подойти к господину дадхо. Зовет... Успокойте первого посланника своим присутствием. И скажите, что я еще немного буду гулять. Редкая в Петербурге погода. Надо привыкнуть и к такой.

Драгоман Казимбек поклонился.

– Буду думать, – глядя на его открывшийся затылок, добавил Ахмад.

Абдулкадыр-дадхо, не понимая – о чем это там они? – все-таки успокоился.

Карета слегка скрипнула примерзшими к дороге колесами. Вырвавшийся из переулка соленый ветерок неожиданно дохнул мокрым морозцем.

Мальчишка завертел головой еще быстрее: остаться приглядывать за большеголовым? А-а-а… Бог с ним!.. Нового ничего к нему не прибавится. И он помчался вослед экипажа Абдулкадыра-дадхо. Куда это они, которых больше?

Подвешенные на вдвое перекрученной бечевке альбомы, раскачиваясь в помахивающей руке Ахмада, неторопливо текли мимо подмерзающего к вечеру города. В них сейчас жило непривычное, прежде не известное беспокойство: и кто их купил, и куда несут, и прижиться ли им там, в не изведанной пока библиотеке?..

Сам себе голову отрубил[1]

С альбомами следовало поступить разумно, выбрав только один из двух случаев. Либо – представить их как давным-давно путешествующих в багаже Ахмада.

[1] Основа главы – переработка документальных записей Ахмада Дониша из книги путешествий «Наводир ул-вакое» («Редкостные события»). Перевод с таджикского М.Османова и Л.Демидчик.

Либо – попросту упрятать в какой-нибудь хурджун до возвращения в Бухару и не обнаруживать перед глазами Абдулкадыра-дадхо. Нет, вовсе не потому, что фирман эмира Музаффара делал его главным посольским дипломатом, поступлено же было без разрешения. Тот сам понимал свою малую дипломатическую значимость в сравнении с опытной значимостью Дониша, в третий раз оказавшегося в Петербурге. Не зря же еще в дороге, слегка покурив опиума, дадхо благодушно заметил Ахмаду: «Настоящий посол здесь ты. А я – твой слуга, и мои люди – твои люди. Во время поездки ты можешь разрешать и запрещать все, что считаешь нужным…»

Вот то-то и оно, что – во время поездки.

Приветствия Бухары при удачном возвращении и золотая милость эмира все падет в руки Абдулкадыра-дадхо. При позорном же исчезновении из русской столицы, случись такое, он – всего лишь в черной тени от Дониша, допустившего русское неуважение к Музаффару.

Нет, Ахмадий волен в своих покупках ничуть не менее, чем в дипломатических же поступках, – какой приятный переклик слов! Дело в деньгах, утаиваемых Ахмадом от взглядов, желаний и рук Абдулкадыра-дадхо.

Поставив его над Ахмадом, Музаффар догадывался о неравнозначности этих двух человек. Но, подумав, решил не допускать перевешивания посольских весов чашей мудрости Ахмада Дониша, выровняв ее чашей – формально отвечающего за всех – Абдулкадыра-дадхо. По сути: глаз своих и ушей своих на долгом и политически неопределенном пути.

Не умеющий работать – незаменим для властителя.

Во-первых, потому, что не умеющих – больше, особенно крутящихся возле власти. Всегда существует возможность выбора – вдруг лучшего! – кого-то кем-то заменить. Во-вторых, наоборот, легко заменив предыдущего, по той же самой причине их множественности, легко продолжить жить с последующим, – не ожидая изменений. Не умеющие работать одинаковы…

Умеющий занят делом, а потому – легко не заметит тебя, власть имеющего.

Для кого тогда твоя власть?

Вот так и уравновесил всех эмир Музаффар, предупредив обиду Абдулкадыра-дадхо и назначив тому жалованье в двадцать тысяч таньга. Ахмаду же дал всего десять.

Знал эмир Музаффар, живущий среди людей, еще и другое: не умеющие ничего умеют главное – утверждаться за счет не только казны эмира, то есть государственной, но и всякой другой, по обстоятельствам подвернувшейся. А значит они все-таки – власть. И власть благоденствующая и благодетельствующая. Ведь они вольны одаривать тех, кто внизу, кто под ними. Иной возможности зарабатывать важность в глазах подчиняющихся, то есть доказывать, что и они, не умеющие, все-таки что-то значат, у них нет.

Однако эмир Музаффар, пожалуй, не ожидал, что врученные им Абдулкадыру-дадхо, – даже с запасом на поддержку самого себя – немалые деньги начнут исчезать направо и налево уже на пути посольства по дороге на Оренбург. Длинная дорога съедала деньги не своею длиной. Она легко пережевывала их постоянной торговой нерасчетливостью дадхо, представительскими пирами перед ничего не значащими людьми. Или просто – ни с того, ни с сего – поощряющим случайных проводников и попутчиков бездумным действием.

К Оренбургу почти ни один посольский бельбаг уже не требовал, чтобы его снимали с пояса, развязывая для заглядывания вовнутрь. Все они исхудали от опустошенности.

В городе проживали тихо, не скликая к себе теперь, наконец, очень нужных для дальнейшего, ни губернаторских людей, ни помогающих в пограничных бумагах чиновников. Пиры не сбирались.

Но велик Аллах, Вознаграждающий больше заслуженного – аш-Шакур! Встречной удачей привел в караван-сарай бухарских купцов, добычливо возвращающихся из Москвы. К ним и пришли… С первым поклоном сам важный Абдулкадыр-дадхо, пошелестевший перед бухарцами фирманом грозного Музаффара. Вняли, и слегка поделились некоторыми суммами: при случае, возможно, что и вернутся. Вторым поклонением перед ними смирил себя и Ахмад-махдум Калла. Поделились и еще некоторой суммой, взамен на заемные, печатью Ахмада подтвержденные столбцы. Главным его убеждением стало неотразимое напоминание о кочевых набегах среди Каракумов неизбежных барантачей[1]: деньги всегда отнимут, в бумагах же, да еще при печати, – для отнимающих неведомо какой толк… Третьим же – тайно сохраненным от Абдулкадыра-дадхо – стало собственное его, Ахмада Дониша, объяснение с купцами, неожиданно получившее совсем необъяснимую поддержку. Сказывал им просто, без ожидания: узнаю у русских полезное, о том для Бухары и напишу. Священная Бухара, Бухоро-и-Шериф, от сторонних знаний никогда не отказывалась: даже и отрицая, следовало знать – что отрицаешь. Купцы покивали: в Москве и Санкт-Петербурге много полезного. Ладошкою не прикроешь. И всем последующим за ними иным торговцам книга пойдет в назидание. Чтобы знали – куда едут, а не втягивались бы в пустоту. Дали много больше прежде просимого. Хоть в третьем-то этом случае, как будто бы даже и не под залог, а под еще не написанное… Чем объясняется в мире такое?..

Сегодня как раз из этих, из оренбургских монет придется расплачиваться: торжественно приглашены в «Собрание».

Абдулкадыр-дадхо тотчас озаботился выбором дорогого блестящего халата. Ахмад же – предварительными расспросами.

Вчерашним вечером, помакав деревянный калам с железным пером в стеклянную стклянницу с медною крышечкой, записал на бумаге кое-как узнанное: «*Устроено это Собрание вот для чего. В этой стране нет покрывал, и знатные мужчины, и дамы, девушки и юноши влюбляются друг в друга. Но привести домой возлюбленную нельзя, потому что по их закону мужчина не может взять больше одной жены, а женщина не может выйти замуж, пока не умрет муж, а развод никоим образом невозможен. Поэтому любовные отношения, которые возникают меж ними, являются преступными и запретными. Происхождение здесь ведется от женщины, а не от мужчины. Так, если муж отсутствует десять лет, то каждый ребенок, откуда бы он у жены ни появился, носит имя отсутствующего мужа…*

В определенный час все выходят из Собрания. При выходе платят от пяти русских таньга, которые равны двадцати пяти нашим таньга, не считая платы за съеденное и выпитое…»

Однако ж увиденное на то, что услышано, не походило вовсе. Во всяком молчании больше правды, чем в шумном поддакивании или в отрицающей болтовне.

Желтовато-белый, выскальзывающий из-под ног лестничный мрамор не приводил идущих в круглую залу, но возносил их к светлому чуду ярко сияющей небесной юрты, производя это как-то бесшумно, хотя вокруг и смеялись, и говорили многие громкие земные люди. Абдулкадыру-дадхо, вышагивающему первым, мнилось, что не мрамор, дышащий отблесками свечей, оказывался вокруг. Но что совсем рядом, ладонь протяни, образовался видимый одному только ему, священный конь Бурак, не-

[1]Баранта, бармта (тюрк.), barimta (монг.) – самоуправное возмездие (напр. за угон скота) у кочевых народов Средней Азии. Иногда – организованный грабеж с целью принудить население к удовлетворению каких-либо требований. В широком смысле: набег, захват чужой собственности. (См.: Чудинов А. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». 1910 г.; Попов М. «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. 1907 г.). Соответственно: барантачи, «…барантовщикъ – участник в баранте, разбойничій наездникъ, грабитель». (Вл. Даль. «Толковый словарь» 1880-1882 гг.)

когда единым скачком домчавший пророка Мухаммада – мир Ему! – до прекрасного Рая, а теперь вот послуживающий и здесь.

То есть, до странности, в Санкт-Петербурге случилось с дадхо событие, по Корану именуемое – мирадж.

Уже словно не Абдулкадыр-дадхо, а – откуда смелость взялась? – некто, не ощущаемый телесно, некто совсем другой, тенью пророка Мухаммада неожиданно для самого себя вознесся до живой небесной красоты. Не Мухаммада, но сейчас живого его – Абдулкадыра, невидимо сопровождающий архангел Гавриил перенес из мечети неприкосновенной – «Масджид ал-Харрам» в мечеть отдаленнейшую – «Масджид ал-Акса». Из славной Мекки в славный Иерусалим. Это к нему здесь сейчас словно бы подвели горячим ноздревым дыханием дышащего, неописуемого по красоте, священного коня Бурака, на коего Абдулкадыр-дадхо никогда, даже и в опиумном помышлении не посмел бы сесть. Бурак взглядывал на него подкрашенными женскими глазами своей головы, слегка воздыхал шевелением лебяжьих крыльев, передергивал мышцами под лоснящейся кожей лошадиного крупа. Он призывал к себе, чтобы подняться туда, в зеленое поднебесье, в чертоги Аллаха: ан-Нур – Лучезарного, аль-Вадуд – Любящего, аль-Муджиб – Принимающего молитвы и аль-Хади – Направляющего к свету истины того, кому этого пожелает. Кто бы осмелился, если, конечно, он не пророк Мухаммад, взглянуть на Бурака глазами наездника? И Абдулкадыр-дадхо не осмеливался. Он лишь слегка ухватился за белоснежную гриву, копытами нетерпеливо постукивающего, коня.

Белоснежную… Но не от седины, но от тонкости волосяного шелка.

Ухватился и тенью Великого был вознесен на все шесть небес попеременно. На каждом его встречали невесомые ангелы и один пророк, управляющий неземными измерениями по определенным ему Божественным законам. Абдулкадыр-дадхо кланялся ангелам, подобно же пророку Мухаммаду, ведомому Гавриилом. Ангелы отвечали, пророки благословляли на все более и более высокое вознесение… Так тогда было, так чудилось и сейчас.

Вот уже близко, совсем-совсем близко непередаваемым светом сияющее древо, не имеющее названия. Оно как бы под ветерком, никем однако не ощущаемым, трепетно шевелило разноцветными листьями. Их нельзя было ни сорвать, ни погладить, ими возможно было только лишь жить, наслаждаясь пониманием, что если руками раздвинуть их крону, то за нею откроется все заключающий путь уже и на небо седьмое, куда и пророк Мухаммад не осмелился донестись священным конем Бураком – с лицом женщины, телом лошади, крыльями невиданной птицы. За разноцветной листвой обреталось само местожительство Всемогущего Аллаха… И перед ним останавливали таких не безгрешных, как вот он – Абдулкадыр-дадхо…

Наслаждение красотой не бывает продолжено до бесконечности. Оно останавливается там, где его останавливает сам человек, имеющий обязательные пределы собственного ее, красоты, понимания. Бесконечность красоты страшна для него, как всякая все поглощающая бесконечность.

Совсем рядом шумно вздохнул, переполненный только земным восхищением, весьма не похожий ни на ангела, ни на путеводительствующего архангела Гавриила – Ахмад-махдум Калла, известный теперь и здесь, Ахмадий Дониш. Этот видел все поземному, не без восторга, тем более, – поднебесного, но все же с наслаждением от живого, плотского и телесного.

Нежные красавицы, стройные и солнцеподобные, прогуливались вкруг залы плавно и грациозно, – каждая, как еще никем не испуганная газель. Легкие до невозможности их одежды, не китайского – ему знакомого, – но какого-то иного шелка, были столь тонки, что сквозь них, как через родниковую воду, просвечивало купающееся в нем близкое тело. Каждое – такой изящности и красоты, что ни одно из них не смогло бы заслонить собой другое, тому же подобное…

– Если господин посланник тоже изволит сочинить несколько бейтов, – пробудив не ото сна, а от близкой реальности, шепнул Донишу на ухо неожиданно, не ко времени, образовавшийся вблизи Казимбек, – то этим он принесет большую пользу своей миссии…

Дониш недовольно шевельнул плечом, чтобы все-таки не просыпаться, а как бы просто отогнать муху.

От женщин пахло розовым маслом и пьянящим запахом мягко тлеющего камня-ладана, иногда привозимого в Бухару из Иерусалима и превзошедшего своим почти невидимым дымом самые сладкие запахи подожженных ароматных палочек из близкой страны Хинд, или – и того больше – амбры и мускуса, а им отдавала свое предпочтение даже сама Айша, жена пророка.

Рассказывают, и тому свидетельствовал сам прилежномудрый Абу Осман ан-Нахди, что посланник Аллаха – мир Ему! – благовествовал: если кому-нибудь из вас дают ароматические вещества, то – не отказывайтесь. Поистине, они происходят из Райских кущ.

Некоторых из женщин облекали тонкие черные платья и обхватывающие разноцветные накидки из вспененных узорами кружев. Ничего не скрывающих, а только лишь еще более прежнего добавляющих нескромной прозрачности. А потому – привлекающей даже и стремящийся так-таки ничего не увидеть, изо всех сил сопротивляющийся все-таки увиденному, чужой взгляд. Из-за подобной тонкости тканей, стрела взгляда пронзала всех женщин от спины первой и до груди сотой, нигде не задерживаясь, будто Всевышний – слава Ему! – сотворил их тела из чистой воды или прозрачного стекла.

Когда лестница твоего восхождения обрывается, ты оказываешься среди тех, кто взошел по ней раньше тебя. То есть – таких же, как ты сам. То есть – таких, от которых ты, в общем-то, уходил.

Нежные пери стали осторожно опускаться на землю, сдерживающе помахивая светлыми крыльями, вертя небольшими головками, обукрашенными искусственными цветами, будто выбирая то место в зале, куда было бы возможно опуститься, последним легким хлопком свернув распростертую красоту.

Уже отлетавшие прежде неторопливо ходили по обводящей ковровой тропе. Проложенная позади неплотных колонн, она отделяла пространство, созданное для кругового хождения, от бархатных кресел, рядами стоящих посередине и сдвинувшихся так плотно, как, бывает, сдвигаются люди в мечетях, собравшиеся на пятничную молитву.

Разноцветные платки, шали, перья павлинов, искусственные цветы среди черных волос, веера, вспархивающими бабочками трепещущие в руках… Все это – слегка пересыпанное серебряными крестами и звездами мужчин, мерцающих многочисленными отличительными знаками, муаровым отливом диагонально их перечеркивающих шелковых широких лент и золотом скрученных нитей густо наверченных эполет, все это – двигалось друг за другом. Шевелилось и шло, всколыхивая свечи по стенам, вздрагивающие огоньками и поэтому сильнее прежнего начинающие потрескивать после всякого их всколыхивания прошеркнутым мимо воздухом платья, плотностью фрака, колючестью мундира или обеспокоенностью сюртука.

Так водят по кругу лошадей в поводу, чтобы не застоялись.

Попробовав не сбить это общее движение, посланники, осторожно оставив лестницу, вступили в ряды текущих мимо. Но с первого раза приноровиться не удалось. Даже вдруг показалось, – от них все замедлилось. Всё – всем своим блеском, своим розовым запахом, всем множеством глаз удивленной толпы – уставилось на них с веселым пока еще недоумением: происходит ли это наяву, или эти чудеса, явившиеся в жилище фей, созданы воображением? Как могли попасть, явно сторонние, эти демоны в общество ангелов? Как очутились дивы рядом с пери?

Лучше бы уж просто смеялись над странной чужой одеждой и растерянным их видом, чем непонимающе удивляться.

У Абдулкадыра-дадхо между тем ловчей получилось приспособиться к выгулу. Очевидно, потому, что и наездником он всегда был получше. Не то что Ахмад, большую часть времени сидящий со скрещенными под собою ногами перед низеньким столиком с рукописями.

Сейчас в променадном круговом хождении коренником шел Казимбек.

В отражениях минуемых ими зеркальных дверей он и Абдулкадыр были видны во весь рост полностью. Отражение же Ахмад-махдума оказывалось урезанным: столь высокая, толстонамотанная, многозначительная его чалма не вмещалась в узкие серебряные стекла и исчезала на уровне затейливой позолоченной резьбы всех зеркал, мимо которых она проплывала.

Периликие удивлялись.

Посланные бухарцы, объяснительно оробевшие, понесенные живым кругом, совсем почти потеряли понимание – куда им теперь ступить.

Идущая перед Ахмадом женщина на мгновение замерла, чтобы оглянуть себя в серебре зеркала. Пораженный нежной спиной, запрещенно открывшейся перед самыми глазами, Ахмад чуть не уткнулся в нее. Придвинувшееся близко тепло не смогло остановить его, хотя и обмершего, но все-таки еще двигающегося за ним. Но тонкая, показавшаяся ему хрустальной, ручка, отстраняя, коснулась его задохнувшейся груди.

«Эй, вы, чудища в облике людей, вы, дикари, идите осторожнее, ведь я выступаю, как горделивая пава. Не затопчите и не запачкайте своими неуклюжими ногами мой тонкий подол, что волочится по полу, как павлиний хвост»[1], – вот о чем неслышно сказал ему этот жест.

Вздрогнув, едва успев извинительно поклониться, Ахмад отступил назад, но тут – уже в спину – ткнулся кулачок другой воздушной красавицы:

«Эй, невежи, постойте… Осторожней! Ведь моя серебряная грудь нежна, как лепесток розы. Смотрите, не пораньте ее шипами своей неуклюжести…»[2]

Могло даже показаться, что именно ими, посольскими, сейчас была сбита равномерная поступь всех остальных. Однако просто приблизилось другое.

Прогуливающиеся устремились к бархатным креслам.

И Казимбек, угадав необходимость дальнейших действий, стал направлять посланников к отведенным им почетным местам, где-то в первых рядах. Почти что совсем напротив невеликого полукруглого возвышения, плоско поднимавшегося над полом всего на два ваджаба[3], на котором стоял русский самтур[4], ловко вделанный в волнообразно обрезанный и черным блеском наполированный стол. Ножки стола надувались – впрочем, вряд ли зависимой от них – музыкальною важностью.

Но, сделав новый некоторый переполох, посольские заупрямились, отказавшись оказываться напротив самтура – спиною ко всем остальным людям, говорящим, покашливающим, посмеивающимся…

Опять: не над ними ли?

Непривычно было иметь заспинное шевеление. Пастух очень редко ходит впереди доверенной ему и – беспокоящей отары. Надобно и приглядывать, и отбившихся подгонять. Надобно, то есть, глядеть, как можно более привычно.

Ведь и собрание дивана[5] во дворце эмира Музаффара рассаживалось вдоль стен, пусть полукругом, пусть – кто вблизи, кто поодаль, но все – по благоволению,

---

[1] Ахмад Дониш. «Наводир-ул-вакое»

[2] Там же.

[3] Ваджаб – мера длины, равная расстоянию между большим пальцем и мизинцем в раздвинутом до предела положении.

[4] Самтур – персидский (восточный) музыкальный инструмент. Род цимбал. В данном случае имеется в виду фортепиано (рояль).

[5] Диван – совет, канцелярия эмира, где собирались на совещания высокопоставленные лица.

благословению и справедливости. Лицами друг ко другу. Никто обманно не подойдет со спины, не кивнет несогласно головою в чалме так, что ты не увидишь. Все перед тобой. Ты – перед всеми. Осмелишься ли остаться один, когда все сжились с эмиром в одном одинаковом кивке?.. Только если захочешь быть выброшенным из кормящего тебя дворца в несытую, необщую, уличную жизнь…

Идущий впереди отары рискует остаться один, не увидев, что за ним давным-давно никого нет. Волкам привольней задирать твоих овец за твоею спиной. Да и самим овцам спокойнее без твоего пригляда, смотрящего только вперед: живи, как знаешь. Хоть и волку на зуб.

Хочешь все и всех видеть – вышагивай сзади. Не почетно, зато оберегающе.

Теперь они шествовали в обратную ото всех сторону.

Поводырем – высокостройный Казимбек, остро пахнущий кельнской водой и колючим запахом нагретого очеловеченного сукна.

Следом – что-то решающий про себя Ахмад Дониш, поблескивая серебром парчовой чалмы, увершенной небольшим колпачком. И – неторопливее всех, последним, понимая, что уже и здесь узнаваем, сам первый посланник Абдулкадыр-дадхо. Его по-европейски непокрытая голова темнела жесткостью подросших волос, первых после обычного прежде голого обрития.

К совсем задним рядам, возле обрамляющих полукругом колонн, приподвинули два отдельных бархатных кресла.

Опустились на бархат с большой усталостью. Не от переутомления тел, долго двигающихся впустую, но от внутреннего в душе напряжения, туго натянутого, как новые струны на старом дутаре.

За колонным же мрамором уже были настенные свечи, переставшие теперь подергиваться от людского движения и ровно греющие тонким теплом близкие затылки и шеи. Затылку Ахмада было жарче, чем другим: чалма добавляла своего непродуваемо душного влажного тепла.

Изумрудно-белое шелковое платье взошло на возвышение перед самтуром. Длинные пальцы рук, выпорхнутые из рукавов, вдруг быстро-быстро застучали своими живыми молоточками по черно-белым клавишам. Застучали с такой подвижною ловкостью, что глазу стало невозможно за ними уследить; Ахмад понял: еще и из-за этой, делаемой сейчас музыки, все, наверное, сюда и пришли.

Музыка им не расслышивалась, хотя, хотя звук ее выстукивался в разнообразной громкости. Так барабанят капли дождя по натянутой ткани походного шатра во время любого долгого перехода.

Ему стало тоскливо и – хорошо. В памяти он расслышал нежное пение ная,[1] тянущего свою непрерывно плачущую мелодию шашмакома[2]. Из нескольких – как едино-одну.

Вспыхнули звезды, живущие где-то даже и не на черном небе, а высоко над ним. Звук ная жил в ночном пространстве степи грустною жизнью общего существования, пробегающего мимо.

Переступающие с ноги на ногу верблюды подзвякивали своими колокольчиковыми побрякиваниями песне ночного ная, не разрушая ее.

Ловкие пальцы, ласкающие самтур, продолжали летать и туда, и сюда, не давая памяти особенно сосредоточиться.

---

[1] Най – восточная свирель.

[2] Шашмаком – классическая система таджикских и узбекских ладов, построенных на основе вокально-музыкальных произведений. Начало сложения «Шашмакома» относится к IX-XIII вв. В системе «Шашмакома» различают три цикла: бухарский, хорезмийский и фергано-ташкентский. Бухарский состоит из шести макомов (бузрук, рост, наво, дугох, сегох, ирок). Все части макомов обязательно начинаются в нижнем регистре, затем мелодия постепенно повышается и достигает «авджа», – широко развернутого кульминационного построения в высоком регистре. После «авджа» следует неизменный плавный спуск мелодии в исходный низкий регистр. (см. Холида Айни. «Жизнь Садриддина Айни»)

Как бы он мог описать играющую, да и всех остальных, многих женщин, если б пришлось? Ну, вот, примерно вот так:

«…одежда женщин этой страны до талии узка, а от талии до подола настолько широка, что если женщина входит в комнату, то подол остается еще в коридоре. Под поясом из шелковой ленты у них другой пояс, скрепленный из изогнутых полумесяцем тонких и эластичных костяных пластинок, которые не ломаются, когда женщина садится или встает. Этот пояс они затягивают очень туго, поэтому пластинки приподнимаются вокруг талии и поддерживают шелковые ткани платья. Со стороны женщина похожа на золотую, украшенную жемчугом башенку, поставленную на вершину удлиненного круглого купола. А сверху, на голову, плечи и талию, они накидывают черные, красные и голубые кружева, а у висков прикрепляют букетики искусственных цветов, будто только что сорванные с цветника. Росою для них служат духи и розовая вода…»

Драгоман Казимбек, став позади, наклонился над спинками кресел и – почти щекотнув гладко блестящими тонкими усами – опять шепотнул прежнее:

– Надобно, конечно же, надобно написать. Ведь, кроме прежде сказанного, прелесть стиха сгладит вашу восточную неуклюжесть…

«…К ушам они подвешивают продолговатые сверкающие серьги из алмазов, хрусталя, жемчуга и золота, величиной с зернышко финика. Ночью в пламени свечей они сияют как удлиненные огненные капли. Или – как ясный месяц. А кожа за ухом до того чиста и прозрачна, что видно, как под нею пульсирует кровь. И сверкание серьги, сочетаясь с прозрачностью ушной мочки, напоминает поставленную против зеркала свечу. От такой красоты и великолепия рассудок покидает голову, когда они встают, и сердце замирает в груди, когда они садятся».

Теперь музыка стала легче. Скорее всего, потому, что сделалась приглушенней, заметно отодвинув саму себя в некоторую тишину и оставив освобожденное место для подстроившегося под нее еще и человеческого голоса.

Теперь еще розово-белый шелк взошедшей перед самтуром другой женщины заставил сначала застыть, а потом, после ее нежного пения, и – затрепетать зал, вызвавший поощрительными хлопками рук, здесь называемых аплодисментами, нервное вздрагивание всех свечей по стенам. И еще – в двух золотых подсвечниках, огнем охраняющих возвышение. Музыка понималась через голос, напоминающий неожиданной одинаковостью протяжную нежность ная…

Длинноногие аисты – не заглушая поющую и все же шумно хлопая крыльями – опускались между глиняными башенками аккуратного минарета Чор-Минор, выкладывая на его зеленую и голубую глазурь веточки большого гнезда.

Колеса невесть куда тянущейся арбы разрезали горячую, обжигающую ноги ленивого коня, ватную пыль, разваливая ее на две стороны...

Под стеклянной водой водоема Ляби-хауз шевелились, вздыхая и покачиваясь, почерневшие прошлогодние листья узловатых карагачей.

– Вы изволите оставаться? Или – если оставляете нас – быть может, разрешите мне остаться, чтобы дотанцевать? – уточняя фразу повторением ее во второй раз, спросил Казимбек.

Абдулкадыр-дадхо, делая вид удовольствия и показывая им, что прекрасно понял всю красоту – и для него непонятного – русского пения, потянулся, по-кошачьи прижмурил глаза и закивал:

– Да-да, оставайтесь. Мы благодарны представлением. Наше удовольствие велико. Мы не преминем рассказать о нем его величеству эмиру Бухары.

Одинокие хлопки затихающих аплодисментов завершали концерт в петербургском Собрании.

Свечи дергались все сильнее и сильнее…

Вскинувшийся навстречу ветер швырнул за спину Абдулкадыра-дадхо тяжелый лисий хвост, сделавшийся из оранжевого серым. Мгновенно выстудил возвращенную на место серебряную чалму Дониша. Холодом засвистел в широкие рукава наброшенных поверху зимних халатов.

– Знаю, – сказал дадхо, когда они уселись в карету, собираясь возвращаться, – там вы думали о женщинах…

– Знаю, – степенно ответствовал махдум, – господин тоже думал о них.

Так сказали. И оба, взглянув друг на друга, рассмеялись.

– Да, и я – тоже… – посерьезнел вдруг Абдулкадыр-дадхо. – Но я думал не так, как обычно думают о женщинах. Я думал по-другому. Вроде будто за них. Старался, чтобы думалось так, как им самим думается здесь. И живется….

– Вольно? Без ограждающего их честь и чистоту закона шариата?

– Нет, не без него… Ведь у них есть какой-то свой, мне не понятный. Почему они не боятся, что на них смотрят? Почему они даже хотят, чтоб на них смотрели?

– Может, Аллах – велик Он и славен! – создал этих, чтобы как раз на них и смотрели? – вслух подумал Ахмад.

– Нет. Не знаю… Разве Творец, Придающий всему форму – аль-Мусаввир, не усложнил бы себе работу, создавая везде разных женщин? Здесь – тех, на которых смотреть можно. В Бухаре – тех, на которых смотреть нельзя?

– Аллах создавал одинаковых женщин. Везде одинаковых, – серьезно сказал Ахмад. – Размеры у них разные, а состоят из одного и того же тела. Это человек их придумал разными. Если бы человек не придумал такого для них правила, много нехорошего бы случилось. Путаница бы произошла. Однако красоту наших восточных женщин следует прятать, чтобы не искушать никого из нас, правоверных. Смуглота, чернота глаз, мягкость тела и гладкость кожи, соперничающая с чистотой отполированной слоновой кости… У наших женщин красоты, оторванной от украшений, все-таки больше, чем надлежит выдержать человеку. Оттого, нет-нет, да и упрятывают ее под чачван[1]…

– Нет правды в ваших словах, таксыр[2]… Или есть, но – немного. По ним выходит, – в Петербурге нет никакой красоты? Потому и стараются приоткрыть себя как можно больше? То есть, чтобы побольше необходимого показать?..

– Аллах Всезнающий – Аль-`Алим! – один ведает смыслы во всем.

– Ну, а если решиться показать здесь уже и нашу красоту?

– Показать такими, какими прохаживались эти женщины здесь и сегодня?

– Ну, не совсем, а чтобы просто обычными – среди важных людей. Не видя нас рядом с собою, эти продолжают думать, что мы дикари, что каждая из наших женщин – несчастный узник в зиндане[3]. А темницы как раз и нет. И они вольны… Как горлинки. Куда захотят, туда и садятся. Куда надумают, туда и летят. Они вольны исполнять волю своего господина. И если он скажет им быть здесь, в Петербурге, похожими на этих женщин… Нет, не вольностью обращения, не голыми спинами, – это запрещает «Хидоя»[4], – но собственным своим присутствием среди чужих, то…

– …они сочтут, что вы убили их, господин посланник. Или, что уж совсем точно, – разлюбили, если словно их продаете, подставив под взгляды всех глаз.

[1] Чачван – сетка из конских волос у паранджи, закрывающая лицо женщины.

[2] Таксыр – господин. Буквальное значение слова – «ошибка», «вина». При обращении к почтенным людям говорили: «Таксирам шавад!» (Примерно: «Да будет моей виною смелость обращения к вам…»). Постепенно, в просторечии, слово стало восприниматься как – «господин мой». И, наконец, сделалось общим вежливым и почтительным обращением к знатному лицу.

[3] Зиндан – темница. В Бухаре – еще и глубокая сырая яма, клоповник.

[4] «Хидоя фи фуруль ал-фикх» («Комментарий мусульманского права») – произведение познавательно-правового и исторического характера, написанное в XII веке знаменитым правоведом (факихом) Маверранахра – Бурхануддином Маргинани. «Хидоя» до сих пор изучается (и служит) в качестве основного руководящего пособия в медресе и университетах некоторых стран Востока, где шариат (главным образом – учение правовой школы ханафитов), сохраняет свое влияние.

Первый санный путь, приморозив к себе клочки сена, утерянные в пути, и промерзшие до каменной крепости золотые конские яблоки, просыпанные вдоль колеи, нетревожно посверкивал серо-голубым накатанным настом. Полозьям теперь предстояло скрипеть уже не по ледяной черноте булыжников, но по первому, еще лишь слегка прожелтевшему насту.

– Труднее всего их будет вывести из посольства, – от домов такие каменные холода! И уж совсем невозможно будет приказать, чтобы прошлись по улице… Чтобы просто прошлись.

Ахмад молчал.

– И мы, и они должны быть такими, как все. Как все здесь. Иначе с нами не начнут говорить… Это в Бухаре пусть их желтыми младенцами пугают. Из кунсткаморы. А здесь…

Ахмад все молчал. Он не думал, что Абдулкадыр-дадхо был до конца прав. Он думал, что их, то есть – посланников, должны уважать еще и за то, что они не похожи, что они все-таки другие. Что люди вообще не одинаковые. Но как же тогда его собственные, только что им же произнесенные слова про то, что женщины различны только лишь в начертании собственных тел, а в остальном – одинаковы.

Ахмадий думал…

– Нет, – мы обязательно должны научиться жить здесь, как живут они, – хлопнул двумя руками по своим коленям Абдулкадыр-дадхо. Хлопнул утверждающе. Потом взглянул на Ахмада и произнес: – И вы, уважаемый Ахмад-махдум, тоже подтвердили мой политический выбор: все-таки сняли с себя свою драгоценную чалму. Голова не замерзла?

– Она не замерзла. Ее после этого события просто уже не случилось. Сняв чалму, я собственными руками отрубил себе голову…

Восхваление восхваляемых

Камин растапливали, пожалуй, что ночью, поскольку к утреннему времени, поднимавшему их для дел, он уже разогревал комнату запаленными березовыми поленьями, гудя комнатно-ровным и уютным огнем. И сегодня отблески огня уже вовсю шевелили все предметы гостиной, заставляя длинные тени дергаться и приплясывать под неслышную музыку беспокойно веселящегося пламени.

Однако Абдулкадыр-дадхо запаздывал работать. И Ахмад не стал запаливать обновленные свечи на стенах гостиной и в других покоях, а только добавил огня, приблизив один из шандалов к рабочему столику.

Да и за влажными окнами уже туманно и мокро, но все-таки рассветало. Но внешний свет еще не отвлекал, и вполне можно было, проникнувшись полузабытым при общей дороге, одиночеством поскладывать торжественные стихи, не в первый раз навязываемые Казимбеком.

Луна благородства, о, дочь властелина мира,
По воле судьбы сблизилась со счастливым Юпитером.

То есть сошлось все, чтобы начать заниматься опасным делом. Да и как же не опасным? Хвалить и порицать правителей, – значит обязательно тревожить самые главные внешние силы – небесные и земные…

Выводить строку за строкой, сочиняя песнопения, восхваляющие восхваляемых, – это походить на собственного палача, подносящего – одну за другой – вязанки хвороста к костру, где ты сам можешь быть поджарен. И где даже самым высокомудрым бейтом от тобою же приготовленного огня ни там, ни здесь не спасешься.

Если непридуманно высоко взошло восхваляемое тобой земное солнце, действительно великое среди живущих одновременно с ним людей, если нет среди восторженно удивляющихся этому никого, способного войти с ним в сравнение, если тебе не пришлось подавлять тошноту, называя его достоинства во всеуслышание, а подвиги, им сотворенные, соответствующими в действительности произошедшим, ты все равно этим напоминаешь ему о себе, что и ты – смертен…

Праведное восхваление восхваляемого будоражит в нем главный закон его жизни – закон земной справедливости.

Не принимающий вскриков в одинокую свою честь, и не слышащий вскриков в честь – его подвигами и его праведностью – облагодетельствованного народа, становится недовольным. Дань, принесенная лишь ему, но не остальным, вознесенным до счастья, как он считал, его подвигами, его заботами и даже его простым среди них присутствием, становится заметным указанием на неудачу. Ведь они стали ничтожеством от личной, пусть и для них совершаемой благодетельности, от только его подвигов…

И восхваляемый понимает, как он плох, над всеми возвысившись.

Восхваление праведного при его жизни, как сволакивание все новых и новых хворостин в уже немалую кучу для костра, подготовляемого восхваляющему.

В этом – восхваление праведных.

Восхваление же правителя неправедного – это ничуть не политика, оправдываемая разными устрашающими обстоятельствами, но еще большая дань греху.

Благосклонность к благодушному восприятию видимого или же скрытого вранья, при полном согласии с ним, обманчивее самого обмана. Даже самый великий дурак понимает, что, славословя ему, говорят неправду. Ведь он-то видит: да, слова есть, но за приоткрываемым пологом его полосатого шатра – все, как прежде, все, как и до его восхождения на трон. Но тогда – где он? Но тогда – зачем он?

Это – не то бракосочетание, результат которого может определить разум.
Все цветы появились из засады,
Ароматы все появились из скрытого места.
В этом собрании – целый мир гурий и пери,
Каждая по красоте и миловидности – вторая ясная луна.

Страшнее всего писать об ушедших правителях. Кто-нибудь из них еще только-только взлез на догнавшую его арбу смерти, еще только-только двинулся по ее колее в сторону своей последней дороги, ведущей к истинному – на сей раз! – его вознесению, а о нем уже начинают вымучивать цветистые бейты. И в каждом двустишии переполненность изысканными славословиями раздувает его прежнее, наконец, оставленное земное существование до такой высшей степени, что ни у кого на земле более не остается подобной праведности. И ни у кого дела по их исполнению не оказываются более лучшими, чем были при нем. А он, отошедший, уже рассыпающийся в земной прах, величается самым великим и неповторимо неповторяющимся…

Да как не боятся о том твердить? И какими вдруг неразумными делаются, вступая торопливою похвальбою едва ли не в противоборство с самим – Взыскующим, Берущим отчет – аль-Хасиб, с Высшим Судией, Отделяющим хорошее от плохого – аль-Хакам.

С Истинным Владыкой всего сущего – Аль-Малику'ль-мульк.

Великий грех лезть со своим земным пониманием мира в советчики к Создателю этого мира, еще не судившему мертвеца собственным Страшным судом.

Великая бестолковость напрашиваться в подсказчики, напоминая Ему – Ему! – о каких-то там прежних делах усопшего. Великое самоубийство говорить о праведности исчезнувшей жизни, опередив в том суждение самого Вычисляющего судьбы.

Вознося, – а то и, равно, осуждая отшедшего, творя подобное непотребство еще до самого справедливого Всевышнего разбирательства.

Великая самоуверенность, всего лишь по-человечьи все пересудив, выносить земное хвалящее суждение, обгоняющее приговор еще не вынесенный Им, Имеющим обо всем попечение…

Глупцы чалмоносные. Но Ахмадий Калла не подобен им.

Это – не тот пир, который видят раз в сто веков
Глаза звезд со старого небосвода.
Уста кравчего от рубинового вина стали рассыпать сахар,
Глаза красавиц стрелами кокетства ранили сердца.

Спина затекла. Пальцы от напряженного движения пером по бумаге слегка сводило. Ахмад забросил руки за голову, попробовал потянуться, – не смог: длинные рукава халата не дали возможности скреститься усталым пальцам на колючем затылке. Он встал, еще раз потянулся и подошел к запотевшему окну. Отерев рукавом влажное стекло, глянул наружу.

Жизнь за окном существовала все еще грустно. Хмурый воздух еще стыл между домами, еще спал, укутавшись туманными одеялами, расслабленно вытянувшимися вдоль полузамерзших каналов.

Зато небо неожиданно обрадовало. Чисто-серое, оно оказалось оттертым и от редкой прошлогодне-летней голубизны, и от морозно розовевшего вчерашнего заката, и от нависшей черноты позавчерашних, снегом набрякших туч. Свободное ото всего, оно обещало холодное солнце заискрившемуся рассветною золотою пылью новому дню.

Удивительно, но, оказывается, Абдулкадыр-дадхо уже прогуливался внизу, неподалеку от проездной арки.

Еще более удивительным показалось то, что он прохаживался перед тем самым беловолосым мальчишкой, что – любопытствуя – бежал за их каретой через половину Петербурга, с одной линии на другую. Да и потом, нет-нет, да и появлялся под окнами посольской миссии, вглядываясь в их дипломатическую глубину, с немалым старанием пытаясь вобрать в себя и понять непохожесть обитающих за отблескивающими стеклами восточных людей.

Абдулкадыр-дадхо размахивал руками перед самым лицом мальчишки, вряд ли понимающего, о чем с ним говорят. Руки посланника дирижировали пространством, чуть ли не задевая покрасневшего на холоде носа. Юнец ничего не понимал.

«Пробует отогнать от окон, – подумал Ахмад. – И прав. Можно задернуть шторы чужого взгляда, но все равно придется жить напрягаясь, кожею ощущая, что за тобой наблюдают».

Вовремя подъехавший Казимбек, похоже, все объяснил неразумному. Мальчишка закивал головой, понимание подтверждая. И – ничуть, по-видимому, не огорчившись, – стал уходить вдоль улицы к дальнему перекрестку.

Казимбек продолжал говорить, сопровождая. Абдулкадыр-дадхо, похоже, до конца не договорив и не доругав, все еще объясняющее неостановимо жестикулировал.

Дошли до конца длинного дома, остановились, повернули обратно… Нет, опять стали уходить…

«Хорошо. Все пока хорошо, – подумал Ахмад. – Можно еще чуть-чуть поработать, что-то успеть».

Легко испуганно замолчать. А только не в самой судьбе ни у придворного хроникера, ни у летописца, к главе приближенного, ни у дворцового поэта – знатока всех форм стихосложения, нет возможности жить бессловесно.

На то их над словом и поставили неведомые им силы. А то – и некто гораздо более больший, чем все эти силы, взятые вместе: чудится, мнится и понимается, – наделил их подобным сам Повелевающий – слава Великому! Аллаху акбар!

Наделил… Только же – не судить, возвеличивая или же низвергая. Но всего лишь, чтобы строго и точно поведывать об увиденном близко. О том, например, – кого наградил чашкою плова справедливый эмир, а у кого ее отнял, выдернув из удерживающих рук, бросив под ноги, разбив о каменья. А может, о том, – верхом ли на многотерпеливом иноходце гарцевал он бок о бок со своими солдатами-нукерами, ведя их в степной поход, или они волокли его в паланкине, отмахивая от мух, укрывая изнеженного от солнца, мучающего всех одинаково. Еще, быть может, дано им было талантливое перо, чтобы они осмеливались мысленно заглянуть даже и в святую недоступность ароматов гарема, чтобы сквозь ковровые стены сумели определить, – в страхе ли забивались в угол вызываемые к эмиру на ночь и оттого трепещущие в великом страхе жены его и наложницы. Или наоборот, – с визгливыми вскриками тискали и щипали друг дружку, выбивая мечтаемое долгожданное право спать нынче под ним…

Старания многопишущего Дониша всегда были именно такими стараниями – не судить, а поведывать.

Аллах в человеке, когда тот преодолевает себя. И людям, в каждом из которых есть пусть и не ощущаемое ими присутствие самого Аллаха, судить других, наверное, все-таки тоже можно. Но судить – Его истинной волею, обычно явленной в человеческой совести и в человеческом же стыде. Им, только им, этим понятиям, глубоко пригнездившимся в глубине каждой земной души, очевидно, подарено очень маленькое право обнаруживать истину. Ведь сумма всех одиноких людских истин, возможно, тоже приближает к пониманию праведности.

Или – неправедности, явленной в восхвалении восхваляемых.

Пусть Ахмадом Донишем еще не написан, а только задуман трактат об устройстве государства и взаимоотношениях людей. Мысли для него рождаются постоянно, вот и здесь, и сейчас… Как раз и об этом. О праведности восхвалений.

Приподнялся, поправил поленья в камине, шевельнул огонь, помогая пламени обхватить их поудобнее, склонился над бумагою.

«Пишущий эти строки, благодаря некоторым своим достоинствам и знаниям, имел деловые связи с правителями и военачальниками. Я видел, что их окружали льстецы, ищущие подачек, поэтому служить там было очень трудно, и я сторонился общения с ними.

Когда меня пригласили на службу, я написал, что служить так, как это делают другие, я не могу. Если эмир хочет, чтобы я оставил свои научные занятия и поступил на службу в государственный аппарат, необходимо ввести в государственное управление определенную систему, как в других государствах. А поскольку навести порядок среди мангитов довольно трудно, я напишу трактат, в котором будут изложены принципы государственного управления эмирата и стран Европы.

Если они станут действовать в соответствии с этим, я ежедневно буду являться ко двору и работать там по четыре–шесть часов, делая то, что в моих силах.

А если не согласны с этим, пусть простят меня, ибо коню простительно, что ему не под силу ноша слона…»[1].

День окончательно засветлел зимним солнечным золотом. Легкое движение воздуха сдувало с высоких крыш переливающуюся снежную пудру.

Так вышло, что все утро этого наступившего дня Дониш отдал легкому написанию придворных стихов, порожденных и напоминаниями Казимбека, и собственным, для подобных деяний, его посольским предназначением. Почетною участью, определенною для него эмиром.

[1] Ахмад Дониш. «Парчахо аз “Наводир-ул-вакое”» («Редкостные события»). Сталинобад. 1957 г.

Он писал их, ничуть не лицемеря, но ничуть и не избегая требуемых, ожидаемых восхвалений, в необходимый момент мгновенно разбрасывая перед ожидающими целые горсти неспрятанных пожеланий. Он расшвыривал вокруг себя словесные блестки несравненных сравнений, возжигал огоньки холодного фейерверка. Он успокаивал ревнивый будущий слух обкатанными метафорами, давным-давно привычно живущими на кончиках перьев у всех придворных поэтов мира, вечно захлебывающихся в мертвых водах собственного восторга. Он так писал…

А все же – ничуть не покривил собственною душой.

Он славословил, но – вот его хитрость! – вовсе как будто и не царю, а всего только его детям. Возвеличивая их. Увенчивая красотою слога не корону, а невидимый шлейф свадебных предстоящих дней Альфреда, сына Виктории – императрицы Индии, и Мариам, Марии, дочери русского императора.

Его сторонние утренние мысли, пришедшие в неожиданное соприкосновение с образами славословящего стиха, почти что навязанного Казимбеком, не помешали бейтам легко родиться. Не отразились ни на звонкости слов, ни на мелодике общего звука, ни на яркости образов, густо понабросанных Ахмадом поверх каждой написанной строки.

Они даже не разрушили тонкой игры языка фарси: тайным явлением девяти определенных букв, с которых начинают девять бейтов, он хитро и скрытно обозначил два высокочтимых имени – Его и Ее Высочеств. К тому же еще закрепил дату бракосочетания – внешний повод посольского их сюда приезда! – в самом последнем бейте.

Небо, приветствуя,
Сыплет на головы людей драгоценные камни из ярких звезд.
Молва об этой свадьбе достигла всех уголков земли,
Уши ангелов оглохли от звуков флейт и труб.
Глаза на ее стане увидели хронограмму:
Но куда же удалилась она от стана, украшенного разумом?

Только лишь знающий великий фарси, прочтет все сокрытые Ахмадом Донишем смыслы. Только обученный драгоман Казимбек поймет их сам и расшифрует для царских ушей.

Да, пожалуй, что тоже не до конца….

Ведь он, Ахмад, еще и дополнительно оживил стихи, подсветив их вдобавок мало кому видимым светом, подброшенным неприметно… Порожденным теми самыми сторонними мыслями о восхвалении восхваляемых, которые только казались сторонними мыслями, на самом же деле…

Ведающий да поймет.

РАИМ ФАРХАДИ

Из цикла «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»

Кошка Крикуша

В окне – сентября середина.
Вкус праздника, хлеба, вина.
Мир, вышедший из карантина,
Лишь кошка Крикуша больна.

Похожа сейчас на ребёнка.
Ей боги помочь не спешат.
Простужена, кашляет громко
И кормит в подвале котят.

Не вызовут «помощи скорой», –
Соседка пилюль принесёт,
И кошку Крикушу от хвори
Воистину чудом спасёт.

И в радости смотрит соседка,
Сама уцелела едва...
К ней ластится кошка-трёхцветка.
Почти оклемалась. Жива.

Песенка запечного сверчка

(биологи определили, что в пении сверчка всего два слова: «Я дома!»)

Простенькая песенка у сверчка,
Остальным сверчкам давно знакомая.
Он поёт за печкой с кондачка:
«Дома я, дома я, дома я!..»

Доберусь уставший вдрызг вечерком.
Будто с плеч спадёт гора огромная.
И запеть мне хочется со сверчком:
«Дома я, дома я, дома я!..»

Дышит жаром солнечным в доме печь.
Пироги печёт хозяйка скромная.
С ней сквозь сон в постели я буду петь:
«Дома я, дома я, дома я!..»

Простенькая песенка у сверчка,
Остальным сверчкам давно знакомая.
Слов милее в мире нет наверняка:
«Дома я, дома я, дома я!.. »

Тебе одной...

**Память нам дана, чтоб возвращаться...
В доме тихо. Будто все ушли.
Территория любви и счастья –
Где она теперь, в какой дали?**

**Целовал твои глаза и руки,
Бесконечно, пламенно любя.
Завтра в гости приезжают внуки.
Невозможен праздник без тебя.**

**В январе усыпан дом цветами.
Ты в спектакле занята с утра.
Хоть один часок побудешь с нами.
Новый год – горячая пора!**

**Знаю я, Снегурочка не кто-то
Из твоих удачливых подруг.
Глядя на любительское фото,
Узнаёт свою бабулю внук.**

**Не успели даже попрощаться:
Паруса сгорели, корабли.
Территория любви и счастья...
Только сердце годы не сожгли.**

Семена слов

**Слова имеют свойство прорастать,
И наплевать им на технический прогресс:
Раскроешь юности забытую тетрадь –
А в ней шумит на пепле новый лес!**

Почерк мастера

**Он был художником стихийным:
Любил дороги и мосты.
Хватал он краску мастихином,
Срезая рудные пласты.**

**Труд называли бесполезным:
Земля над вечной мерзлотой
И небо – то свинец с железом,
То чистый слиток золотой.**

****

**Ощущайте в жизни счастье
Часиками на запястье.
Шепчет на бегу минута
То, что вы нужны кому-то!**

Романс для вас

Совсем не осенняя осень.
Романс посвящается вам.
Летят золотистые осы
К ещё не увядшим цветам.

Вы, слушая, не отрицайте,
Ведь в мире иному не быть:
В тончайшем цветов аромате
И сердце умеет любить.

А небо на редкость лучисто –
И сходятся наши пути.
Легко осыпаются листья,
Цветы продолжают цвести.

Зима не грозила набегом,
Но карты смешала зачем? –
Укрыт неожиданным снегом
Последний букет хризантем.

Мальчишка из детства

Памяти архитектора Серго Сутягина,
поверженного ковидом.

Наедине не с кем-нибудь – с тобою
Хотел бы я побыть в последний раз.
С мальчишкой тем, что мог лететь стрелою,
И не однажды так меня он спас.
А я шутил: «Привет, мой Буратино.
Дом нарисуем и с Мальвиной будем жить!»
За поворотом века половина...
А Карабас наш не умел шутить.
Он тряс дремучей длинной бородою.
Гремел в пути театра тарантас.
Мы научились лихо морды строить,
Жаль, папа Карло весь в долгах увяз.
В последний раз...
И гром январский грянет.
Мальчишка деревянный у крыльца:
«Быть иль не быть?» Роль главная: он – Гамлет.
А мне играть на сцене... Тень Отца.

***

Это Осень. Ночная прохлада.
Тёплый душ льётся вместо дождя.
Что-то нежное шепчет наяда,
Из объятий на брег выходя ...

Закуска с омаром

Омар Хайям живёт в Китайском море,
Большой знаток подводных скрытых ям.
Ему других не надо территорий,
Он ценит жизнь, ведь он омар Хайям.

Не примет суд прошений и кассаций,
Когда, поджарен в бронзовом котле,
По глупости рискуешь оказаться
Закуской на обеденном столе!

Молочное утро

Н. К.

Млечный Путь прольётся из бидона –
От соседей, не издалека,
Принесёт крестьянская мадонна
Свежего парного молока.

Крепостная доля – быть поэтом,
В миг один забыть о сладких снах.
Куст в окне дождём умыт и светом.
Ровно полвосьмого на часах.

Арал и Арль

(тревожный монолог)

Вы находитесь в Арле?
А я на Арале.
Это рядом, если учесть,
Что мы столько уже
На Земле потеряли...
Сами знаете – не перечесть.
Арль бомбили
В безумные сороковые.
И творений Ван Гога здесь нет.
Сотни копий.
Фигуры стоят восковые.
Стул плетёный,
Картофель –
Бедняцкий обед.

Школьному учителю

Что значит в нашей жизни год
Эпохи перемен?
Друзей безвременный уход ...
Прибавилось взамен
Немало новых юных лиц,
Печалям вопреки:
Как тополя, стремятся ввысь
Твои ученики.

У трёх дорог

Вспомни сказку: «У трёх дорог ...
По какой из них ни пройдёшь,
Нет отбоя там от сорок,
Да звучит вороний галдёж:
– Не вернёшься, браток,
Пропадёшь, пропадёшь!»

Ветры, пламя, снега, дожди,
Смех кикимор бросает в дрожь.
Задохнётся сердце в груди,
Не стушуйся, не трусь, иди,
Только так до цели дойдёшь.

Встал в лесу высокий дворец,
У дворца – двенадцать крылец.
Хитро спрятан меч-кладенец.
Ты принцессу ведёшь под венец ...

Там-то сказки счастливый конец!

В читальном зале

«О той любви, которой нет,
Зачем вы пишете, поэт?» –
Из зала послана записка.
За что благодарю я вас,
Что приняли вы к сердцу близко
В стихах написанный рассказ.
Вам двадцать или меньше лет.
Взгляд строгий. Нависает чёлка.
Когда вы говорите: «Нет»,
Мне трудно вам перечить в чём-то.
В стихах сто тысяч раз воспета,
Любовь – не выдумка поэта.
И я уверен: через год
Иль раньше к вам она придёт.

Велосипед

Солнце – мой велосипед.
У меня другого нет!
Подружился с циркачами,
Солнце спицами-лучами
Заблестело мне в ответ.
Небо – звёздное шоссе.
Кто со мной на колесе?
И кручу я на Земле
Весело педали,
Руль держа, и на седле –
По горизонтали!

Яблочный год

Если яблоко мимо
В ручье проплывёт,
Значит, девушка милого
Ждёт у ворот ...
Тот старинный обычай
У нас не забыт.
Он и песней, и притчей
Поныне звучит.
Не смущайся, красавица,
Яблоко брось,
И к тебе скоро явится
Сказочный гость.
Не о нём ли мечтала ты
Наяву и во сне:
Вот он с яблочком алым
Мчится на скакуне.
Счастья девам прелестным
Пожелал садовод.
Значит, вновь по приметам
Будет яблочный год!

Молчание Геккона

На все слова – молчание геккона.
Да будет от подвала до балкона,
Шершавой, закопчённою стеной
К нему судьба подольше благосклонна.

Он зимним днём впадает в долгий сон.
Весенний луч его разбудит снова.
На комаров охотится геккон,
Прыжок удачный для него ценнее слова.

Посвящение Иосифу Бродскому

«Вчера наступило завтра, в три часа пополудни»

Я не поклонник броского
Или запретных тем.
Но принимаю Бродского
Я беспредельно тем,
Что вся архитектоника
И бег его стиха –
Бессонный подвиг стоика
И утро жениха.
Простора всепланетного
Слова – из сердца вон.
В них гул двора монетного
И колокольный звон.

АЛЕКСАНДР СВИСТУНОВ

Кукольный театр

Рассказ

Вечер трудного дня. Максим лениво ковыряет вилкой грибочки, вылавливает из тарелки кусочки мяса. Медленно ест, без аппетита. Сидит голодный, усталый, злой. На работе кошмар и тихий ужас. Контракт не выполнили. Крупный штраф другая сторона выкатила, и где деньги брать? Теперь виноватого ищут. Начальник ничего по-русски не говорит, только, как собака, на всех лает. Погода за окном дождливая, жена неласковая. Что в жизни хорошего?

Юля собирается пить чай, стучит ложкой по стенкам чашки, мешая сахар. Прищурив очаровательные глазки, ехидно спрашивает:

– И чего это ты на меня так смотришь?

– Как я на тебя смотрю?

– Без особой любви.

– Да ты чего, я с любовью смотрю, просто я ее прячу, чтобы никто не догадался.

– И даже я?

Юля приподнимается из-за стола, тянется навстречу мужу, зажав что-то в руке. Тонкий стан, пышная грудь, упругие бедра, стройные длинные ноги. Ноги Максим не видит за столом, но прекрасно себе представляет, и этот влажный, до дрожи томный взгляд. Сирена, а не женщина. Одурманит и утащит на дно жизни.

Она раскрывает ладошку.

– Съешь мармеладку, милый.

– Грибы с мясом и мармеладом? Это ты хорошо придумала.

– А что, новый вкус, новые ощущения.

– Нет уж, пусть твоя мама мармелад лопает, она и макароны сахаром посыпает.

– Ну, потом, с чаем, – продолжает Юля уговаривать мужа и гладит его пальчиками нежно по щеке.

– Чай сегодня странный, – Максим отвечает, – чабрец, мята и еще какой-то травы наложили, мерзкий вкус.

Он шумно выдыхает воздух и выпивает залпом остывший чай. Морщится, будто водки стакан проглотил. Смотрит в маленький телевизор. И там ничего хорошего. Все ужасно. Огонь, дым, дикие крики, лошади мечутся в пожаре, ржут безумно. Император Нерон рыдая, взывает к своему рабу: «Убей меня, мой добрый друг». Там горит Рим, на кухне котлеты.

– Котлеты у тебя горят, – спокойно сообщает Максим.

– Где?

– В сковороде.

Юля ставит с громким стуком чашку, на лету ловит прихватку, срывает с плиты сковороду, спасает котлеты, вываливая их на тарелку. На кухне становится тесно, везде она, жена, только Максим жмется в уголке. Аппетит потерян. Ну его, это мясо с грибами.

– Детям готовлю, мама не успела их накормить.

– Ох, уж эта мама, весь день здесь торчала?

– Вот ты недоволен, дети присмотрены, ухожены, накормлены, – Юля запнулась, – то есть сейчас накормлю.

– Вот-вот, не люблю твою маму.

– Почему?

– Да потому, что все у нее получается нерадостное, и даже ты! – Максим зарычал, будто это была его личная трагедия.

– Хам ты, Максик, и шутки у тебя дурацкие.

– Если б это была шутка… И мысль у неё одна-единственная в голове застряла. Хочет превратить меня в раба бессловесного. Чтобы я только ваши прихоти и желания выполнял, как рыбка золотая или джинн из лампы, без возражений. А единственным ответом моим, чтоб слова были: «Я раб Юли и её мамочки». Налей еще отравы, – просит он жену, имея в виду чай. Делает глоток, кривится от неприятного вкуса. – Тьфу, – говорит, – пойду-ка я к Диме, нам этот долбаный контракт обсудить нужно.

– Будете пиво ПИТ и водку ЖРАТ?

– Ага. А в двенадцать ночи позвоню тебе, сообщу, что похищен инопланетянами и они надо мной опыты ставят. Уже измазали помадой, облили женскими духами, и страшно подумать, что еще они со мной сделают.

– Может, дома выпьешь? Я тебе налью.

Юля стала ласковая и добрая.

Максим смотрит на жену затравленным взглядом.

– Нет, – твердо заявляет он, – нам в натуре надо контракт обсудить. Куда этот штраф поганый им засунуть?

Он поднимается из-за стола, удивленно смотрит в окно.

– Мы на каком этаже? – растерянно спрашивает Максим.

– Ты что, уже где-то тяпнул? – отвечает Юля с обреченным удивлением, – третий этаж у нас.

– Нет, не успел. Свеча горит за окном в дожде.

Юля подходит сзади, обнимает Максима, прижимается к нему тесно.

– Ну, что ты, миленький ты мой, ну, свеча горит в дожде, на улице. Нам это кажется. Как ты любишь говорить, игра света и тени, огня и льда, любви и ненависти.

Она целует Максима в щёчку. Он резко трясет головой, освобождается от объятий, решительно шагает к выходу. Дверь открывается, Максим замирает на пороге.

– Юль, это чего?! – растерянно зовет жену.

Юля подходит, вместе они шагают за порог.

***

– Ты как? – спросил Максим, – меня будто по голове стукнули, ничего не помню. Вроде сидели, чай пили. А теперь. Где это мы?!

Свеча горела на столе, одинокая. Чернота сгустилась в углах, косматые тени прыгали вдоль шершавых стен. И стены эти в скудном свете будто сдвигались, сужая комнату. Стол странный высился, массивный, огромный. Сундуки угадывались, выстроенные в шеренгу от стола до двери. Окно стрельчатое, закрыто кусочком то ли стекла, то ли слюды, почти непрозрачное. Бойница натуральная.

Максим шагнул вперед, споткнулся о стул. Изящная вещица, ажурная, как на таком сидеть, сломается же? Воздух сырой, как в затхлом подвале. Неприятно до озноба, и дышать тяжело. Правда, в комнате тепло.

Максим поставил стул у стола, достал зажигалку, запалил еще пять свечей. Посветлело, тени прижались к стенам, и страхи отступили.

За окном шуровала непогода. Дождь рвался внутрь, барабаня в окошко. А кругом оказалась зала средневекового замка, с помостом для большого стола и с огромным спящим камином. Щепки сложены в готовой пирамиде в очаге, хоть сейчас поджигай, рядом поленья свалены. Ни одной живой души, только они двое. Свечи шевелят пламенем, хотя сквозняк не наблюдался, верно, дыхание наше от волнения участилось, подумал Максим.

Он взглянул на жену.

– Ты кто, шикарная женщина?

А мадам Пишон – совсем не мадам. Это – леди Гамильтон, Изабелла Испанская или даже Ярославна, королева Франции. Она в длинном платье колоколом, с множеством юбок, одна под другой. Мило улыбается, демонстрирует лебединую шею, большой кружевной воротник и глубокий вырез декольте. Какая, однако, грудь высокая у моей жены, отметил Максим. Платье украшено богатой золотой вышивкой и аппликацией. Из-под платья выглядывал носок туфельки красной кожи с золотой пряжкой.

– Что, не узнал, милый?

– А что у тебя с волосами, белокурая бестия?

– Максик, это парик, ты не догадался?

Она грациозно, как стриптизерша у шеста, сняла парик и бросила его на стол. Он так и лежал горкой белых кудряшек на каменной столешнице.

– Ты на себя посмотри, прынц.

Максим опомнился, он чувствовал неудобство своего костюма, теперь можно было и рассмотреть, тем более и зеркало на стене случилось рядом.

Короткая куртка с рукавами до локтя, тесноватая, не по размеру. Сорочка из белого батиста, приятная на ощупь. Макс потрогал рукав пальцами. Штаны кожаные, чуть ниже колен и даже не совсем штаны, больше похожи на женскую юбку-брюки. Куча пуговиц нашитых, где надо и не надо. И самое неудобное – сапоги со шпорами. Эти шпоры звякали и задевали за все неровности пола и мелкие предметы, которые валялись тут же.

Ну что, кавалер. Как есть кавалер эпохи Людовика тринадцатого, нет, все-таки четырнадцатого. Не д'Артаньян, может, но на Атоса потянет. Та же меланхолия, которая, впрочем, потихоньку вытесняется удивлением.

– Хм, – громко произнес Максим, – и где это мы, и что это мы?

– Я не знаю, – уверенно ответила Юля, – ты мужик, ты должен знать, кто нас по голове стукнул, переодел в это все и сюда приволок. А что, мне здесь нравится.

Юля уверенно, как у себя дома, прошла в угол к маленькому столику, принялась разглядывать и переставлять какие то предметы, наливать воду из кувшина, нюхать специи в коробочках.

Максим решил действовать. Он подошел к массивной двери, изучал ее секунд тридцать, попробовал открыть. Дернул за ручку, от себя, на себя, сильнее, еще сильнее. Ничего. Дверь не поддается.

– Против лома нет приема, если нет другого лома. А лома нет… И чего делать?

– Иди сюда, Максик.

Он подошел.

– Что это за мусор на столе? И не запалить ли нам камин для оживления обстановки? А то мне свечей мало.

– Эй, да ты у меня темный. Вот это – одна алая и одна белая роза, недавно сорвали, – Юля долгим вдохом понюхала цветочки, – это склянка со спиртом, это корень мандрагоры, – она поднесла к лицу мужа растение, похожее на живого паука. Максим брезгливо отстранился, – это семена папоротника, кусочек красной смолы, сердце колибри, а вот это очень, очень нужная вещь, – Юля с довольным видом помахала перед носом Маскима сушеным крылышком летучей мыши.

– И зачем тебе вся эта гадость? – Максим демонстративно зажал нос пальцами и отошел к двери, забрав одну из свечей.

– Милый, так у меня почти все есть. К этому чудесному набору надо добавить три щепотки имбирного порошка, две щепотки истертых в порошок семян аниса, корень дягиля, щепотку лакрицы, немного тмина и кориандра. Потом нужны три капли крови из среднего пальца, лучше из твоего, и останется только правильно сварить это зелье. Тогда можно не ждать радостного события, – я его сама прекрасно устрою.

– Какого события? – настороженно спросил Максим, он на миг оторвался от изучения прочной дубовой двери.

– Выпьешь несколько ложечек этого варева за маму, за папу, за меня, за деток и станешь шелковым и послушным, будешь исполнять все мои желания.

– А, ведьмина вода, – произнес Максим с сомнением и вновь продолжил поиск замка или хотя бы замочной скважины, – ты же у нас ведьма прирожденная, зеленоглазое чудовище, рыженькая стервочка.

– Это ты любя обласкал меня такими словами? Ну и ведьма, ну и что? Я всегда только добрые дела творю, стараюсь, по крайней мере, и насчет тебя у меня самые добрые намерения, из тебя хочу человека сделать, – Юля говорила, шумно принюхивалась к пеплу сожженных лепестков роз и полоскала сердце колибри в спирту.

– Ага, – удовлетворенно ответил Максим, – благими намерениями знаешь, куда дорога вымощена. Ты спирта оставь немного, ведьма доморощенная, может, дверь подожжем. Хотя ты, конечно, ведьма настоящая, твои предсказания всегда сбываются, особенно неприятные. – Максим поморщился, словно уксуса глотнул, – там вода хотя бы есть? Пить хочу.

– Есть, вот в кувшине стоит, и чашка глиняная тоже. Подойди, налью.

За дверью послышались шорох, звук быстрых шагов и детские голоса.

– Раз, два, три, четыре, пять, не хочу с тобой играть. А будешь цепляться, я буду кусаться. Заколдую окаянного, будешь куклой деревянной, – кричала считалку девочка.

– Аленка, отдай мою мобилку, если сейчас уронишь, она работать перестанет, я тебя побью, а папа за то, что я тебя побью, мне новый телефон не купит.

– Витя, а я только секундочку посмотрю, что ты меня нафотографировал, стиру плохие картинки и отдам.

– Нет, – дико закричал мальчик, – ты еще не ту кнопочку нажмешь и не то сотрешь. Лучше мне дай, вместе посмотрим и сотрем, чего хочешь…

Голоса отдалились и затихли.

Максим заколотил кулаками в дверь, заорал бешено:

– Витенька, Витя, Виктор, открой дверь, тебя папа зовет.

Подошла Юля.

– Аленка, солнышко, как вы там? Подойди к двери, поговори с мамой. Витя, позови кого-нибудь из взрослых, откройте двери.

Юля скоро прекратила кричать, а Максим еще минут пять долбил дверь пятками и звал сына. Потом тяжко вздохнул:

– Бесполезно, не слышат они нас.

А возле стола стояла задумчивая Юлия, и лежал на столешнице планшет Максима и подмигивал светодиодом, включен, значит. Чужим артефактом смотрелся этот гаджет среди обнаженных каменных стен, в спокойном пламени свечи. Юля провела пальчиком по экрану. Засветилась картинка. Юля медленно листала фотогалерею, внимательно рассматривала изображения, кусала губы до крови. Алая полоска, как у вампира, стекала у левого уголка рта. Глаза широко распахнулись, носик морщился, как предвестник потока слез. Большая обида заполнила замок. Свечи заполыхали жарко. Еще секунда, и проснется в Юлии фурия, которая съест всех присутствующих в бешеной злобе.

Но взгляд ее вдруг успокоился, потеплел, она схватила двумя руками кувшин, с трудом подняла и вылила то, что в нем было, на голову мужа.

– Ты это, чего это, – только и сумел выдавить из себя мокрый Максим, он даже голову не успел отвернуть, не ожидал. Потом в растерянности облизал губы, почмокал. – Это не вода, вино.

– Что ты говоришь? – Юля шипела, как рассерженная кобра, – кино, вино и домино. На, смотри это кино.

Она высыпала на стол пачку фотографий.

Максим вечером, у подъезда большого дома под ярким фонарем. Освещение хорошее, даже морщинки в уголках прикрытых глаз блондинки видны. Он дарит ей горячий поцелуй. Еще несколько фотографий, где они пылко обнимаются и целуются.

– И что это за эротическая сессия? – продолжала грозно шипеть Юля.

– Да-а-а, – только и смог выдавить из себя Максим.

– Хорошее дело, пятнадцать лет вместе живем, двое замечательных детей, моими стараниями, мальчик и девочка у нас. Я тут все для семьи делаю, а этот Дон Жуан доморощенный ее рушит? На кого ты польстился, это что за метелка крашеная?

Юля села на ажурный стул эпохи Людовика XIV, чуть покачивалась на нем и метала ругательства в Максима.

– Неблагодарная скотина, тупой петух, никчемный осел, всеядный стервятник, очумелый кобель, козел безрогий.

Максим воспрял духом.

– Это почему я безрогий? Думаешь, никто не видел ваши прогулки с Сергеем Андреичем? Мне народ рассказывал, я вот только снимки ваши не коллекционировал, в отличие от тебя.

– Андреевич? Ха, ха три раза. Где Андреич, и где эта твоя, как ее, Светка, – Юля показала поразительную осведомленность и даже успокоилась, теперь она смотрела на мужа с ласковым бешенством. – Сергей – мой старый друг, ну, проводил, один братский поцелуй в щёчку, пусть даже жаркий, всё, на большее его не хватает, а у вас… Даже на снимках видно, как вы радуетесь вашей сексуальной жизни, чего уж о дальнейшем говорить. Но ничего, подожди немного, ты у меня получишь.

Юля встала, подошла вплотную к Максиму, глаза её светились зеленым огнем, пронзила она взглядом мужа, будто в душу ему заглянула.

– Мне нужно три капли твоей крови, и тогда ты будешь игрушкой в моих руках, любимой куклой, ванькой-встанькой.

Максим попятился, нехорошо ему стало, холодно.

– Ведьма, – с обидой крикнул он, – зачем тебе моя кровь, ты и так меня заколдовала. Ты еще хуже меня. Ты же специально опоила меня своим зельем. Ты всё время отраву мне подмешиваешь. Чего ты тут дурочку из себя строишь. Это всё твоих рук дело, твои заговоры. Это из-за тебя у меня в постели с другими женщинами ничего не получается. И хотел бы тебе изменить… Но фиг вам. Посмотри, посмотри внимательно, вот честно, что, Светка некрасивая? Очень красивая. Из нее сексапильность так и брызжет, но у меня жена ведьма! Ложимся со Светкой в постель, и всё. Ничего не могу, полная импотенция, и с другими бабами то же самое, – Максим всхлипнул от обиды, даже слёзы на глазах у него появились. – Вино осталось? – вдруг спросил он беспокойно, – а у тебя, наверное, тоже, кроме Андреича, ещё кто-то был.

– Нет, вы видали это ходячее недоразумение! Он мне ещё и про других баб рассказывает. И ты меня с собой не путай. Я не ты. У меня с Андреичем ничего не было, не говоря о других.

– Ты же всех моих баб знаешь, сама все провоцируешь, чуть ли не подкладываешь их мне, а притворяешься, что ни при чем, – с горькой обидой выкрикнул Максим, – я-то не притворяюсь.

– Ага, – с удовольствием ответила Юля, – ты выдаешь себя за человека, который из себя что-то представляет, а ведь ты ничто. Ты только то, что я из тебя сделала. А еще ты притворяешься верным мужем и хорошим отцом с утра до вечера. А вот мне приходится притворяться твоей женой не только с утра до вечера, но даже часть ночи.

– Ведьма, – с восхищением произносит Максим, – ночью ты хороша! А поесть здесь ничего не найдется, а то ты меня вконец расстроила.

Максим понял, что оправдываться больше не надо, и пошел добывать чашку вина и закуску.

– Да, проблема, – подумав, произнесла Юля, – должна ли я лжеца и подлеца еще и кормить? Все-таки муж. Наверное, даже свою собаку, которая тебя покусала, и то кормят, пока не усыпят.

– Когда я тебя кусал? – Максим поперхнулся куском черствого черного хлеба.

– Не помнишь? Господин великий инквизитор, Дон Торквемада и Дон Жуан в одном флаконе, – издевательски произнесла Юля и кончиками пальцев коснулась головы, будто прогоняла боль магией, – недавно здесь случилось, – Юля показала рукой в окно, – не там, – теперь она показала на дверь, – а здесь.

– В смысле здесь, – не понял Максим, – мы что, где-то далеко? – Он перестал пить вино и большими грустными глазами посмотрел на Юлю, будто начал что-то понимать.

– Не далеко, а глубоко, в твоем любимом мрачном средневековье. Вспомни все, что было когда-то…

Юля надвинулась на него роскошным декольте и, сделав страшные глаза, плеснула в лицо спиртом. Максим пропал во вспышке света.

***

Подземелье доминиканского монастыря, скудный свет двух свечей возле кафедры секретаря суда, чадящий очаг, где греется железо. Воняет дымом и страхом. Максим, то есть Максимус Ле Сьер, инквизитор ордена, стоит и любуется красотой ведьмы. Два дня как её притащили, обвинили в попытке дождь наколдовать.

– Какой дождь? – кричит несчастная женщина. – Добрые отцы инквизиторы, это ваш барон Де Марко меня домогался, а я ему отказала, а он тогда донос на меня написал.

Максимус продолжает её рассматривать. Женщина крепко связана, сидит в неудобной позе в кресле для допросов. Платье разорвано, ножки замечательной формы видны, грудь высокая, лицо очаровательное, губки нежные, глаза красные, воспаленные, бессонница. И эту прелесть на костер?

– Это серьезное обвинение в сторону Де Марко, – мрачно отвечает он. – Как пытали? – спрашивает двух монахов без лиц, стоят они в темноте в нахлобученных капюшонах, как часовые возле ведьмы.

– Применена пытка бдением, – скрипучим пропитым голосом вещает один из них, – держим жертву в бодрствующем состоянии вторые сутки, возможно, она еще два дня выдержит.

– Как зовут? – недовольным голосом спрашивает Максимус у секретаря.

– Корнелиус, Корнелиус Блюм.

– Да не тебя, животное, ведьму?

– Джулия, урожденная Пишон.

– Максимус, – едва шевеля губами, шепчет Джулия, – а я вас знаю, благородный кавалер, по-моему, нас что-то связывает, – и тоскливым взором заглядывает ему в душу.

Максимус вздрагивает в страхе, чувствует, что не в силах противиться колдовскому очарованию этой женщины, хватает со стола «молот ведьм» и бьет ведьму по голове.

– Заткнись, – кричит он, – а вы все выйдите, я из неё бесов изгонять буду.

– Но ваше превосходительство, – несмело возражает Корнелиус, – не положено без свидетелей.

– Каких свидетелей? Экзорцизм не терпит суеты, когда бесы в вас вселятся, тогда я вас сожгу на «площади Цветов». Все вон, – бешено орёт Максимус.

Священники удаляются. Максим развязывает ведьму, при этом громко, нараспев читает.

– Обрати свой гнев, Боже, на зверя, пожирающего чадо твое! Ведьма, – тихо шепчет ей на ушко, – я тебя не боюсь, ты будешь моей женой.

Потом тихонько выносит Джулию тайным ходом из замка.

***

Максим долго и быстро моргал глазами, отгоняя наваждение.

– Но ты не призрак? – неуверенно спросил он. – И это не сон? Это было?

Потом бешеным взглядом посмотрел на Юлю и повторил:

– Обрати свой гнев, Боже, на зверя, пожирающего чадо твое!

Юля вздрогнула, опустила плечи, съежилась, будто испугалась ненадолго. Скоро встала и глянула красными от бессонницы глазами на мужа.

– Вот как, – удивленно произнесла она и маленькими глотками отпила вино, потом внимательно посмотрела на сердце колибри, пульсирующее в колбе со спиртом, – вы вспомнили, инквизитор? А у меня после твоего «молота ведьм» голова теперь болит часто. И что же ты теперь сделаешь с несчастной ведьмой? Сожжешь в камине?

Максим похлопал по карманам куртки, у куртки были карманы! Ну да, он же извлек откуда-то зажигалку. Нашел пачку сигарет, прикурил от свечи. Потом скинул куртку, закатал рукав сорочки, ухмыльнулся гаденько, как настоящий инквизитор, и продемонстрировал на плече секретную печать Соломона – пентаграмму защиты.

– Мы тоже кое-что можем, – грозно предупредил он, – а ты! Ты всё знала. Ты сделала меня игрушкой в твоих руках, и все мои несостоявшиеся любовницы – твой трезвый расчет? Зачем?

– Как зачем? Я же твоя жена, я же должна заботиться о семье и тащить тебя по жизни за шиворот в нужном направлении. А шаг влево – и у тебя полное бессилие, а шаг вправо – и ты меня из любой темницы вызволишь.

Юля так очаровательно улыбнулась, будто хотела съесть мужа.

– Ты, наверное, настоящая ведьма, и кукла моя у тебя есть, чтобы колдовать над ней и заставлять меня делать, что тебе угодно, – он выпустил колечко дыма от сигареты в направлении жены, – давно ты эту куклу сделала?

Юля со стуком поставила чашку на стол, волосы у неё зашевелились, будто ветер подул, которого не было, глаза заблестели, в зрачках будто бесенята запрыгали. Жалостливо она на мужа посмотрела.

– Давно, – говорит, – лет двенадцать уже.

Догадка увесистой дубинкой ударила по голове Максима. Он стиснул зубы, откусил фильтр от сигареты и, громко шурша штанами, опустился на каменный пол.

– Из сына? – задыхаясь, произнес он плачущим голосом, – из нашего мальчика куклу магическую сделала, чтобы мной управлять? И иголки в него втыкала? – дико закричал он, – куклу Вуду тоже из него сделаешь, чтобы убить нас тут?

Он схватил Юлину чашку и запустил в жену. Промахнулся, чашка разбилась о стену. Юля равнодушно посмотрела на осколки. Она даже не шевельнулась.

– Сэр, вас не учили, что дышать дымом даме в лицо неприлично?

– Что? Ты, ты, ты чу-у-у-довище, – в волнении заикался Максим.

Юля презрительно сощурила глазки, изобразила вымученную улыбку, снисходительно объяснила.

– Сам чудовище, инквизитор недоделанный. Забыл, что это и мой сын. Есть магический бесконтактный метод. Я ребенку почти не причиняла вреда. Весь негатив на тебя направляла. Ты был послушной куклой да еще думал, что твоя воля свободная, и ты живешь, как хочешь.

– А негатив, это когда я болею? – обреченно спросил Максим.

Он хотел вина, но кувшин оказался пуст. Тогда он закурил сигарету.

– Так значит дела обстоят. И вся моя жизнь коту под хвост, потому что это твоя жизнь. Но я тоже кое-чему научился. А я вот что сделаю. Как и ты…

Максим схватил корень мандрагоры и этим паучком потряс перед лицом Юли.

– Ты сама напросилась, я из дочки, из Аленки твою куклу сделаю, я на тебе отыграюсь, технику я знаю. Ты у меня станешь идеальной женой.

– Ладно врать, любимый, – Юля послала ему воздушный поцелуй, – все твои мысли мне видны, торчат из твоей башки, как иголки у ежика. Не нужна тебе идеальная жена. Пить, гулять и врать вдоволь всем, какой ты крутой, вот и все, чего ты хочешь. А про дочку можешь забыть, тебе со мной не сравниться, да и мама моя ведьма, и Аленка немножко тоже, куда тебе против нас? И пентаграмма не поможет.

– Понятно, – ответил Максим, тяжкая дума отразилась на его лице, – я чувствую, в тебя бес вселился. Надо его изгнать. Вот только сигарету докурю и приступим.

Юля громко рассмеялась.

– Было уже это. Ты забыл? Милая у нас семейка. Я – ведьма, – Юля вплотную подошла к мужу, заглянула ему в лицо голодным взглядом, как бы с любовью, а капелька крови на прокушенной губе сделала ее похожей на вампиршу, – и муж – великий инквизитор. Сожжешь меня на костре?

Юля ласково обняла мужа и припала к его губам в долгом поцелуе.

Максим с трудом и с сожалением отстранился.

– Ведьма, опять всю душу мне перевернула, а где же наша любовь, куда подевалась, ведь была же любовь?

– Она превратилась, милый. Тебя любовь превратила в инквизитора, а меня – в ведьму. А бесов во мне нет, только любовь к семье, ну, может, к тебе немного.

– Ты меня, что, все пятнадцать лет обманывала?

– И нисколько я тебя не обманывала. Я же про тебя все знала, с первой секунды нашей встречи. Я же читаю тебя, как открытую книгу. Я не в тебя влюбилась, а в того, кого выдумала и наколдовала. И пока я тебя еще люблю.

– А между строк ты читала эту книгу? – Максим измочалил недокуренную сигарету о пепельницу и пытался прикурить следующую. Зажигалка кряхтела колесиком и не искрила, – по-моему, ты себя обманываешь. Чего же мы в последнее время все время ругаемся?

Наконец, Максим догадался прикурить от свечи.

– Просто, как в песенке поется, я тебя слепила из того, что было. А уж чего слепила, то и полюбила.

Максим потушил сигарету, не хотелось курить.

– Так ты мне тоже предлагаешь тебя выдумать и любить безоглядно?

– А что. Это не самый плохой вариант, вина будешь? – Юля протянула ему чашку, сама не торопясь, как горячий чай, прихлебывала из другой.

– А откуда ты вино взяла? – с подозрением Максим спросил. – Кончилось ведь.

– Наколдовала, пей и успокойся.

Максим сделал глоток.

– Боюсь, что невозможно уже создать твой любимый образ. Столько лет жил марионеткой, боюсь, потерял способность что-то создавать. Будто батарейка какая-то внутри села. Фантазия иссякла… Хотя кое-что мы еще можем. А если батарейку подзарядить? Любовь нечаянно нагрянет?! … Юля! – закричал он, будто громкостью голоса запугать хотел. – Я полюблю тебя до безумия, но чтобы никаких кукол из детей не делала, никаких манипуляций, никакого колдовства, а то я точно уж твой светлый ведьмин образ на костре сожгу и пепел развею.

– Вот так? – мило улыбнулась Юля и брызнула вином на свечу.

Мир сгорел в белом пламени.

…

– Мама, – раздался громкий крик.

Дубовая дверь распахнулась, как фанерная, вбежала девочка лет шести и стала громко жаловаться.

– А Витька у меня телефон отобрал и не дал мне плохие фотки стереть, там, где я плакаю. Он говорит, что специально друзьям показывать будет, какая я плакса! Он плохой. Папа, – ещё громче закричала она, – давай его побьем, а то у меня не получается.

В дверь просунулась голова мальчика лет двенадцати.

– А чего она первая обзывается? – пожаловался он.

Юля взяла со стола конверт с фотографиями, задула свечи.

– Пойдем домой, – попросила она мужа ласково. – Дети, – продолжила строгим голосом, – пошли. Сейчас все сотрём, всех поколотим.

– А зачем ты этот компромат с собой берёшь? – несмело спросил Максим.

– Маме отдам, это же ее почерк, видишь, как написано «Для Юлии»?

***

Мальчик и девочка на детской площадке. Мальчик пытается подтянуться на турнике раз, другой, третий с трудом. Девочка равнодушно возит по песку нарядную куклу Барби. Гнёт ей ручки, ножки, поворачивает голову вправо, влево.

– Витька, а у нас получилось? – спрашивает она.

– Угу, – тот отвечает со стоном, пытаясь подтянуться в очередной раз.

– Бабушка как сказала: берете конверт с фотографиями, прячичите его под чашкой из глины. А ты в чай эту водичку добавил?

– А, эту, – Витька деловито поплевал на ладони, глядя на перекладину, примеривается еще раз запрыгнуть, – елексир средневекового обморока, сыворотка правды? Конечно, получилось, видела, какие они зацелованные из кухни вышли? И не ругались совсем. Помирились, значит.

– А бабушка ещё обещала, что мы теперь не куклы, а как взрослые. Куклы теперь у нас после етого елексира папа и мама.

Девочка берет Барби за шею, ставит и ведет вдоль песочницы, а ноги у той сами шагают, и ручки игрушечные колыхаются в такт шагам.

– Мама, хочу мороженое, – дико орёт она кукле в ухо. Кукла кивает, – так будет, да?

– Да, – важно мальчик отвечает, – мы теперь в доме главные.

Девочка бросает куклу на песок.

– А бабушка, она нами не будет, как его, мани пули, ну, вообщем, играть нами, как куклами?

– Не-е, – Витька серьёзно задумался, – мы же не будем пить все эти зельи. Мы же умные.

– Точно, – девочка отвечает – будем пить только кипяченую воду, и руки мыть перед едой. А бабушке тоже чего-нибудь подмешаем. Мы умные! – твердо решила Аленка.

АЛЕКСЕЙ УСТИМЕНКО

Акведук через красный проспект…

Рассказ

Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог…

Александр Твардовский
3 августа 1945 г.

I

Его никто не любил. И я не любил тоже. Но все-таки он мне был интересен. Он умудрялся по три, по четыре часа сидеть на поваленной когда-то березе и смотреть на наши неказистые, в общем-то, домики. Смотреть, ничего при этом не делая, даже почти не шевелясь.

А мог и наоборот, – подолгу, не отрываясь от начатого, работать, – что-нибудь выстругивая маленьким изумительным ножичком, сделанным будто из льдинистого серебра с черненым узором готической надписи – «Sollingen», с рукоятью – желто-коричневой кости.

У меня хоть и без надписи, зато был побольше. Но таких им, кажется, не разрешали иметь. Им всем… И ему.

А надпись, если я захотел бы, и сам мог нацарапать.

II

Они жили в низине, почти что в овраге, густо зараставшей сочной травой даже в наше короткое сибирское лето. В дождливые дни там плотно скапливались комариные полчища, а во все остальные – размытым, извивающимся столбом надоедливо толкалась мошка.

Зимою их длинный барак был почти до самой крыши засыпан каким-то пепельно-серым снегом. Не нашим. Не похожим на тот, по которому мы, мальчишки, любили ходить на лыжах, с удовольствием падая иногда в пружинящие сугробы, и легко взрезали который, скатываясь друг за другом с высоких холодных холмов.

Их снег, надутый ветрами в эту извилистую низину и огороженный от нас давно провисшей колючей проволокой, натянутой между короткими расшатанными столбами, нас не манил и не радовал.

Или он казался таким от дымного угольного воздуха, надышанного туда тремя барачными трубами? Или был им – от постоянных теней, накопленных их памятью в долгие, но уже прошедшие, военные годы?

Живущих в бараке никто не охранял. Ворота были раскрыты, пусты.

И только два раза в день сквозь них проезжали, равнодушно пыхтя обозленными на мороз моторами, крытые промерзшим брезентом грузовики.

Брезент скрипел, как полозья по насту.

Утром немцев отвозили на работу, в сумерки их возвращали обратно.

Пленных никто не любил. Они привычно знали об этом и понимали – почему это так. Война кончилась. И теперь им пришлось жить рядом с нами. Валить деревья, спрямляя дорогу в какой-то неведомой им Бугринской роще, рвать гранит на карьере, ходить за водой к водокачке и встречать людей, еще недавно подмятых ими под себя, вычеркнутых из жизни, не принимаемых ими всерьез.

Страшнее всего им было ходить к водокачке…

Они старались зайти сбоку, пряча глаза и поближе к себе подтянув деревянные самодельные санки-салазки. Ждали, пока ледяную, хлещущую из обмерзшей трубы воду, наберут местные. То есть мы… И лишь потом, суетясь, подставляли ведро, обжигая о его ледяной металл свои красные пальцы.

Но домов было много. Народ подходил часто. И они торопились убрать ведро, скорее всего, еще полупустое, в застывших брызгах и ломких прозрачных натеках.

И он, тот мой знакомый немец, тоже приходил сюда, притаскивая санки, подбитые железными полосами, с пустым ведром из общего их барака.

Здесь я его не узнавал. Не мог узнавать. Ведь сюда подходили люди, мне хорошо знакомые, и о каждом из них, мне казалось, я понимал все.

И о тете Тане, живущей со слепым сыном в черных и круглых очках. И о Васькином отце, который пришел с войны живым и здоровым, веселым и с медалями. Но когда ему сказали, что жена его, наша соседка и Васькина мать умерла от воспаления легких, он стал пить, драться. Потому частыми вечерами Васька теперь спасался у нас. И мы подолгу лежали с ним на печке, размышляя про те многие подвиги, о которых не уставало вещать круглое радио, и которых нам до обидного не досталось.

И о том, кто с кем гулял, и куда гулял в мягкие, зудящие комарами летние вечера, я тоже все знал. Хотя, конечно, знать мне этого напрочь не полагалось.

Только о молодой Верке знать было нечего. Она считалась, наверное, молодой, потому что еще ярко-красно мазала тонкие губы. А прозрачными вечерами выглядывала из-за цветочных горшков в своем окне, с бумажными папильотками между редких и светлых волос.

Больше всего на свете мой немец боялся, кажется, только ее, Верку.

Я часто видел, как сходил он с крепкого наста узкой тропинки, вежливо кланялся и пропускал мимо себя молчаливую тетю Таню. Но та будто вовсе не замечала его, стоящего по колено в ноздреватом снегу, будто это она, а не ее сын, носила черные очки.

Скрипели полозья тетьтаниных салазок, и она проезжала, почти зацепив моего немца, не глядя, не оборачиваясь, не увидав.

От Васькиного отца ему не приходилось сворачивать. За водой всегда приезжал сам Васька, от которого только и можно было ожидать, что бессмысленного, но ядовитого стишка: «Немец – перец – колбаса!» и снежка в спину. А Васькин отец мог только плюнуть себе под ноги, увидев кого-нибудь из барака даже далеко в овраге. И пойти дальше, ругаясь по-матерщинному.

Зато Верка каждый раз надвигалась стремительно. Даже в очень холодные морозы она умудрялась ходить в своих, резиной блестящих, ботиках. Она шла прямо на немца, не сворачивая, не сбавляя скрипящего шага. Даже еще и нарочно с поворотом то вправо, то влево, если он, пытаясь укрыться, отойти и свернуть, делал это…

Она обязательно настигала его ведро, испуганно брошенное на салазках, на секунду приостанавливалась и резким ударом своей короткой ноги, толсто обтянутой бурым мелко-ребристым чулком, сбивала обмерзшее ведро в глубокий сугроб.

Немец обычно обреченно топтался где-нибудь рядом, упрятав голову в поднятый воротник телогрейки и забыв отереть застывающую каплю на длинном носу. Он еще долго не выходил на укатанную тропинку, даже если Верка далеко уже ушла своей торжествующей походкой.

III

– Ох, и злая же ты, Верка! – задумчиво говорила ей старуха-жиличка, давным-давно не известно откуда пришедшая, прямо с улицы пущенная в Веркин дом, обжившаяся там и даже обретшая отдельную железную кровать с тремя подушками под кружевною – Веркиною же – накидкой. – Ох, и злая…

– А чего он! – невнятно огрызалась Верка, кромсая газеты для очередных папильоток и вытаскивая из коробочки, обклеенной раскрашенными мелкими ракушками, короткие и мягкие разноцветные тряпочки на подкрутку.

– А он ничего, – смотря на Веркины руки, бормотала жиличка. – Сталина не порежь. Его уже Бог наказал. Его простить надо. Живой человек.

– Это не его, это тетку Таню твой Бог наказал, – вскидывалась Верка так резко, что легкие, истыканные черными буковками бумажки сыпались в разные стороны, – под стол и даже в грязный таз под рукомойником. – Что, ей теперь всю жизнь сына обстирывать? А кормить? На его пенсию много ли растолстеешь? А этот, носатый, хоть бы с лица спал… Фашист проклятый. И как это наши таких в плен берут? Я бы на месте стреляла.

– Злая ты, Верка… Злая, – опять вздыхала жиличка. – Мало людей-то война загубила? Кровушки-то пролилось… А ты еще хочешь. Бог-то, он не любит злых-то.

– Ну, хватит, – обрывала ее Верка. – Иди, целуйся со своим немцем. Бог! Бог! Не знаю я никакого Бога. Зато, как люди измаялись, давно вижу… Скажешь, нет? А про меня спросила?

– Он все видит. Все… – хотя и испуганно, но все-таки еще пыталась вставить свое слово потерявшаяся старуха. – Может, для этого немца в живых остаться да людям в глаза смотреть – наказание-то пострашнее стреляния-то твоего…

– Тоже мне, наказание, – хмыкала Верка и выключала свет. А старуха-жиличка, недовольно что-то бурча про себя, уже впотьмах разбирала постель, шуршала своими платками и юбками, стаскивая их и развешивая на спинку кровати.

IV

Зато, когда меня никто не видел, я подходил к моему немцу совсем близко. Было интересно: и чего он опять выстругивает? И, вообще, я, наверное, хотел открыть для себя в нем что-нибудь особенное. Страшное, например… Ведь это из-за таких, как он, однажды вытекли глаза у тетьтаниного сына. И если б Васькин отец, если б не уходил на много лет драться на войну и оставался бы насовсем с Васькиной некрасивой матерью, – она не заболела бы, не умерла. Ведь когда рядом свои люди, никто по пустякам не умирает.

Правда, тогда бы он не пил, и Васька бы не ночевал на нашей печке, и мы бы не шептались с ним всю ночь.

Немец был очень обычным. Он тихо улыбался, когда поглядывал на меня. Что-то даже напевал грустное и тягучее с непонятными своими фашистскими словами. А однажды поманил меня пальцем, засунул руку в карман толстых ватных штанов и достал оттуда жестяную коробочку-табакерку. Зеленая, блестящая и с мелким рисунком из разноцветных кружащихся цветочков и листиков, она оказалась красивее даже Веркиной, ракушечной.

Я протянул руку и взял ее.

Немец, все так же улыбаясь, кивнул мне, что-то сказал непонятное, стряхнул стружки с колен, встал и начал спускаться к себе в низину. К щелястым деревянным вышкам охраны над проволочным забором, где никого давно не было, но где так густо и резко пахло мочою, что, казалось, она, охрана, опять только что там помочилась.

Ваське табакерка тоже очень понравилась. Мы наелись горячей картошки с луком и с подсолнечным маслом, залезли на печку, и тогда я показал ему ее.

– Где выменял? – спросил он.

– Где надо, – равнодушно, чтоб получилась тайна, сказал я. – Подарили.

– Врешь, – сказал Васька. – У нас ни у кого такой не было. Спорим?

– Мне тот подарил, – тогда решился я. – Из барака.

Васька молча посмотрел на меня, потом на табакерку и, наконец, как-то обрывисто, глотая целые буквы, произнес:

– Я бы, ну, выбросил тогда. Понял?

Теперь молчал я.

Я не соглашался с Васькой. Тем более, что он добавил еще:

– Давай ее молотком стукнем?

– Свою стукай, – ответил я.

Но своей у него не было, и он повернулся от меня к стене, по которой полз светло-коричневый таракан.

– Опять у тебя прусак, – сказал Васька. И мы больше не разговаривали. А потом стали спать.

Утром к нам пришла Верка. У порога она не взяла веник, чтобы оббить снег с валенок, потому что руки у нее оказались заняты. Она вообще необычно дышала в тот раз. И губы не накрашены. И валенки вместо ботиков. И фанерный ящик из-под старой посылки с засохшими сургучными пятнами на боках она прижимала к груди, как какого-то толстого и квадратного младенца.

Я знал этот ящик. Каждый последний Новый год мы с мамой забирали из дома, как нам казалось, лишние рубли, приходили к Верке и под длинные уговоры выкупали из фанерного плена то зеркально-оранжевый шар, то серебристую и плоскую картонную обезьянку, то мягкую звезду из красных стеклянных трубочек, то ватного и важного, усыпанного слюдой, всегда мнущегося Деда Мороза.

Верка неохотно продавала новогоднее счастье. Но нам удавалось уговорить ее, то есть – почти выпросить. Тем более, что елку она никогда не наряжала, но умела впрок доставать такие игрушки, которых я никогда не видел в нашем универмаге, где на витрине в комнатках-коробочках медленно вертящейся карусели, казалось, показывалось абсолютно все, что есть в окружающем съедобном и несъедобном мире.

Целлулоидные куклы и свисающие красные муляжные колбасы. Машинки «Победа» размером с мою ладонь и с железным гаражиком в придачу. Жестянобаночные консервы «Лосось дальневосточный» и стекляннобаночные – «Малиновое варенье». Деревянные куски раскрашенной ветчины с нарисованными белыми вставками сала и Снегурочки со Снеговиками на маленьких железных прищепках, чтоб зацепляться ими за хвойную ветку. А еще – резиновые черные ботики, блестящие так же, как заблестели бы все стеклянные новогодние шары, окажись они черного цвета, точно такие, каких не оказалось тогда на Верке.

– Забирайте, – сказала Верка и тяжело поставила прямо на круглый стол свое разноцветное, тонко позванивающее богатство. – Все забирайте. На кой оно мне? Сдуру копила. Надеялась.

Потом она села на табуретку и, не раздеваясь, стала плакать.

Отец засмущался и вышел в сенцы под дверь покурить. Мне хотелось остаться, но меня тоже выгнали. Я только успел заметить, что мама сначала взялась успокаивать Верку, а потом тоже присела на кровать и достала из рукава голубого платья тонкий платок, пахнущий духами «Красная Москва», – наверное, тоже, чтобы прикладывать к мокрым глазам.

Красная картонная коробка, похожая на пенал, шелковая кисточка на крышке.

Верка ушла, когда день стал катиться к своему темно-сиреневому морозному концу.

Я дышал на промерзшее стекло, отколупывал ногтем мешающие мокрые льдинки и смотрел Верке вслед.

Вот она прошла через двор. Медленно и устало прошла. Вот она остановилась у калитки и поправила платок. А теперь распрямила плечи и пошла вперед так быстро и зло, что стало уже совсем почему-то ее жаль.

Вот уже у самого поворота ей навстречу попался Васькин отец. Он шел прямо на нее, растопырив руки так широко, что, казалось, – согласись они только, и он обнимет трех, а то и четырех таких Верок сразу. Не сегодня бы только ему шутить.

В снегу он оказался неожиданно быстро. Он сидел в нем глубоко, крепко. Выставив в сторону дороги черные подшитые валенки и ошарашенно глядя снизу-вверх из-под сбитой на нос шапки с промятым отпечатком от, давно Васькой вынутой, красной армейской звездочки.

V

Кажется, он еще ничего не понял. По его розовому лицу, то усиливаясь, то притихая, блуждала жалкая улыбка.

– Ну, чего ты, чего… – бормотал он, делая разбросанными руками движения выкарабкивающегося пловца. – Я же шутил. Шутил!.. Игрался.

– С Васькой играйся, – обрезала она его. – В следующий раз покрепче схлопочешь.

– Следующего раза не будет, – медленно выползая из сугроба, произнес Васькин отец. – Не дождешься.

– Больно надо…

– Надо, не надо, а сказал – не дождешься, значит, не дождешься. Нынче девок – эвон сколько. Только свистни, – навалом прибегут. Такое дело, когда приспичит… Нас, мужиков, сосчитай-ка! Пальцев всех не используешь. Останутся еще. А вас – тьфу! – только свистни…

– Что-то не больно ты свистишь, – нахмурилась Верка. – Сил нет, что ли? На водку убухал?

– А ты мою болячку не трогай, не тычь! – озлился этим словам больше, чем снежному сугробу, Васькин отец. Он стянул с головы старую шапку, ожесточенно стал колотить ею по своему колену, отряхивая. И было видно, что он уже очень замерз.

Мелкие снежинки падали на его волосы, оставались в них лежать и не таяли.

– Ага, – усмехнулась Верка, – о болячках заговорил. Значит, в точку попала. Думаешь, тебе только так весело, что завыть хочется? Думаешь, тебя одного жизнь прищучила? И все теперь тебе можно? Была б жива твоя благоверная, я б тебе…

Верка неожиданно сильно взмахнула рукой, и опять Васькин отец забылся в снежной истоптанной мешанине.

Он долго лежал там, не вставая. Хорошо, что Васька не видел этого, а то бы повыбил все стекла в доме, где жила стремительно уходящая Верка. Непонятная мне. В развязавшемся старушечьем шерстяном платке. С ненакрашенными губами, с кожей, опухшей возле глаз. С валенками на ногах вместо резиновых бот, пусть и привычно холодных, но зато какой-то надеждой блестящих и поскрипывающих.

VI

Ох, как я тогда испугался за моего немца…

Именно в это время они всегда возвращались на двух, крытых брезентом, грузовиках. И именно в эти предзакатные часы кто-нибудь из их барака обязательно тащил обледенелые санки к нашей водокачке. Верке навстречу.

Облетевшая штукатурка, серо-желтая занозистая дранка, диагонально перечеркивающая саму себя и черные старые бревна под нею.

Так быстро, как в тот раз, я никогда уже больше не одевался и не бежал. Снежный воздух плотно забивал задыхающийся полураскрытый рот, где-то глубоко внутри обжигал обнаженные легкие.

Грузовики только что развернулись у туманящейся низины. Пленные, скользя и тихо переговариваясь, спускались к бараку. Шофер уже сидел в кабине. Быть может, он и не покидал ее. Охранник в дубленке пристегивал отошедшее полотно брезента к исцарапанному грязно-зеленому борту и привычно для себя ругался.

Я остановился, не зная, что делать. Отдаваясь в ушах, колотилось громкое сердце.

Не предупредить…

Со спины они были все одинаковые. В одинаковых же телогрейках и ватных штанах, в шапках с ушами, чаще всего завязанными тесемками на затылке, но нередко и с просто опущенными.

Некоторые из них подпрыгивали, разминая затекшие и замерзшие ноги, некоторые отогревали ладони в плоских рукавицах, засунув их под мышки.

Они шли торопливо и медленно, рваною серою массой, отдельными группами и в одиночку.

Я не видел их лиц, и, может, поэтому они показались мне до ужаса однообразными. Каждый из них – это был тот, мой знакомый немец. Подаривший мне жестяное сокровище с цветочками на тонкой глянцевито-блестящей крышке. Тот самый, что-то обычно выстругивающий тонким блестящим серебром своего ножа.

Черненая готическая надпись «Solingen», рукоять – кость ребристая, бело-коричневая.

Каждый из них мог оказаться им.

Но все вместе они были другими. Другими…

Их оказалось очень много, а я один стоял где-то вверху, среди пахучих коротких концов, наполовину засыпанной, но все-таки торчащей из-под снега полыни.

Я их боялся и ненавидел. Всех вместе. Мне было их жаль, но и страшно хотелось, чтобы сегодня ночью, нет, сейчас, вдруг, сию минуту, – замела поземка, завертелась секущая кожу метель, густо поднялся бы тяжелый буран… И – засыпал, завалил, заморозил бы их здесь. Всех сразу.

Но изменился бы от этого мир?

Но снял бы свои очки тетьтанин, в пустое небо смотрящий сын? Но перестал бы тараканьими ночами вздрагивать у меня под боком поколоченный Васька? Перестал бы бродить по нашим улицам испачканный лежалым снегом его отец?

Не глядя на то, что попадет в мои руки, я нагнулся, схватил тяжелый кусок острого льда, запустил его в их телогреечные спины и потом медленно пошел домой.

Кажется, никто из них привычно даже не обернулся.

VII

На Новый год мама была занята нами – мной и отцом. Она гладила рубашки, штопала дырки на моих носках и присматривала, чтобы отец не таскал из большой кухонной миски праздничные пироги с картошкой.

Но ему было не до этого. Он придерживал мои ноги, когда я взбирался на стул, чтобы нацепить на колючую еловую ветку какой-нибудь очередной красно-зеленый и золотящийся Веркин фонарик. Да и сам радовался, если, обогнав меня, вытягивал из посылочного ящика что-нибудь неожиданно и заманчиво блестящее, легкое, позванивающее тончайшими стеклянными молоточками. И он, наверное, очень раздосадовался, когда в дверь постучали, помешав ему до конца позаниматься таким несолидным делом, каким занимались мы.

В дверях опять стояла Верка.

Она опять стала накрашенной. Особенно яркими казались ее круглые щеки. Хотя это могло быть с мороза.

Красная картонная коробка, похожая на пенал, шелковая кисточка на крышке. Духи «Красная Москва».

И мама опять отставила утюг. А отец, ничего не дожидаясь, ушел курить в сенцы.

Но теперь Верка не плакала, а просто сидела на табуретке, смотрела на меня, на елку, на горку белой, еще чистой пока посуды, на плоскую стопку отглаженных праздничных наших рубах и ни про что не говорила.

Я не понимал: зачем она опять сюда к нам пришла? Ведь не за игрушками же? Ведь сама же их поотдавала, и забирать – теперь будет нечестно.

И мама, кажется, тоже не понимала…

Может, поэтому она тогда решила подарить Верке свое голубое платье с высокими плечиками. И Верка очень обрадовалась и очень благодарила. А потом поднялась и стала смотреть елку. Со всех сторон. И даже там, где еще ничего не висело, а лишь струисто переливался один серебряный дождь.

После этого она сразу ушла, совсем забыв про голубое платье на спинке стула. Только ее пустая табуретка с положенными, сверху не пришитыми ватными подложными плечиками, одиноко осталась стоять на самой середине комнаты. И нам с отцом было совершенно некогда убрать ее в угол, потому что мы опять взялись за игрушки. И лишь обходили ее стороной, стараясь не зацепить об острые, все-таки мешающие нам углы, длинными гирляндами, бумажными разноцветными цепочками и флажками.

Я уже не смотрел ей вслед, в окошко.

Мне было некогда.

VIII

А больше в те дни и ничего не происходило. Иногда, ближе к вечеру, поднималась воющая метель. Кто-то, невидимо стоящий снаружи, горстями разбрасывал снег по замерзшему стеклу, и снег шуршал по гладкому ледяному холоду непрерывно и плохослышно. Под такое шуршание хорошо спалось на нашей печке, знакомой наизусть, или даже просто лежалось, с разглядыванием близких трещин на потолке и пыльного, в побелке, электрического шнура, бегущего от одной фарфоровой пробки изолятора к другой.

Васька давно не приходил. Быть может, потому, что на улице стало уж очень холодно. Быть может, он присматривал и за отцом, который – как рассказала мама – вдруг почему-то стих и долгими синими вечерами стал возиться у себя в дровянике, что-то строгая, выпиливая и неумело приколачивая.

Когда же прежде Васька прискакивал к нам побитый, нам делалось веселее.

И Верка тоже больше не заходила. Я слышал, как и про это мама сказала отцу, что она почти за бесплатно ходит стирать простыни и наволочки к тетке Тане, чьи обшершавленные руки недавно совсем опухли и стали трескаться мелкими иглистыми трещинками.

И только мой немец, все так же обходя встречных, таскал скрипящие и неуклюже плоские салазки от своего барака к нашей водокачке.

Облетевшая штукатурка, серо-желтая занозистая дранка, диагонально перечеркивающая саму себя и черные старые бревна под нею.

Верку он теперь встречал редко. Теперь сама жиличка, согнувшись в три погибели, возила обычные полведра ледяной воды от туго бьющего крана к их дверям, обитым дырявым толем.

Желтые, рассыпчато острые искры на холодно-липкой черноте и пучки утепляющей пыльной пакли рваными сухими соплями свисающие вниз.

IX

За метелями пришли тихие и плотные, как ватное одеяло, снегопады. Потом откуда-то из облаков выползло еще сонное беловатое солнце, заискрился рассыпчатым серебром подтаявший наст. Воздух вокруг как будто стал реже и острее во всех земных запахах. Дышать им теперь было можно до бесконечности, беспричинно улыбаясь и подсвистывая то ли себе самому, то ли суматошно орущим воробьям. Они всегда первыми предчувствовали, что – совсем-совсем немного и – булькающие, поначалу прозрачные, ручьи побегут, вертя набухшие щепки и опилки, от проталин на холмах под высокие сугробы, наметенные за зиму.

Все люди, наверное, оставались прежними, но все-таки виделись друг другу добрее и мнились ближе, чем были на самом деле.

Еще несколько раз спускался я к тому оврагу, куда все так же вела узкая разъезженная колея от двух ежедневных машин.

И однажды опять увидел своего немца на старом месте. Он, как прежде, что-то мастерил, счищая серебряным ножиком-коротышкой мокрую кору с куска смолянистого дерева. Но только солнце или еще что-то мешало ему работать. Он тоже то и дело поглядывал вверх на недоступно высокую синеву с раздерганными подушечными перьями облаков, на теплый золотящийся диск, висящий над бело-серой голою рощей, на меня, стоящего неподалеку. Независимого и любопытного.

Потом, как в прошлый раз, подозвал меня пальцем, и я подошел ближе.

Он взял свой нож, широким жестом, несколько раз, обтер его о ватные штаны и протянул мне. Как когда-то зимой – жестяную табакерку. Дурак.

Это был шикарный подарок. Нужный, конечно, не только для обстругивания разных деревяшек, но и для удовольствия смотреть на него. И для хозяйства, особенно если оно, как у них, – за провисшим колючим забором, хотя и с настежь распахнутыми воротами. Со щелястыми деревянными вышками охраны над проволочным забором, где никого давно не было, но где так густо и резко пахло мочою, что, казалось, она, охрана, опять только что там помочилась.

Черненая готическая надпись «Solingen», рукоять – кость ребристая, бело-коричневая.

– Бери, мальчик. Бери, – сказал немец. И вытянул вперед свою белокожую широкую ладонь с длинными костистыми пальцами. – Будешь делать кораблик. Будешь капитан. Будешь плавать по лужам в дальние страны.

– А вам? – вежливо спросил я, тихо пропадая от понятного искушения, совсем забыв про то, что мой ножик был длиннее и для пользования – лучше.

– Дома есть, – сказал он. – Очень-очень много есть. Скоро поедем домой… Большой город. Франкфурт… Знаешь?

– Нет, – сказал я и сгреб с его ладони заветный ножик.

Теперь, когда у меня их было два, в то время, когда у Васьки – ни одного, я чувствовал свою значительность и солидность, свою материализовавшуюся к этим понятиям приобщенность.

– Приезжайте еще, – невпопад произнес я и повернулся бежать в свою сторону.

Немец засмеялся и тоже собрался уходить.

– Ты хороший мальчик, – сказал он мне последнюю фразу. – Ты добрый.

Мне показалось, что он тотчас вспомнил про Верку, про ведро, облепленное мокрым снегом и лежащее на боку рядом с салазками.

Хотя, вряд ли…

На его месте каждый бы думал про одно только возвращение в не известный мне город Франкфурт, где у каждого большого и малого жителя, наверное, обязательно много разных ножичков с всякими лезвиями. А если и нет, то – по одной жестяной коробочке с цветочками на крышке уж непременно.

X

– Бабуль, а ты знаешь, – сказала Верка как-то под вечер в мартовские дни, – сегодня мы ходили гулять. И в рощу ходили, и к магазину…

– Ходили, ну, и ходили, – равнодушно ответствовала старуха-жиличка, разглядывая на свет прохудившуюся шаль.

– Мы с ним ходили, – счастливо протянула Верка, глядя куда-то вдаль. Будто и не было перед ней стены с картинками из журнала, с зеркалом под белым полотенцем и с полочкой для всякой всячины.

– С ним, так с ним, – не реагировала бабка.

– Повторяешь, как попугай, – добродушно подосадовала Верка, – а сама и не спросишь – с кем?

– Мое дело стороннее. Я тебе не указ. Всякий одного только Бога бояться должон. Вон их сколько, залетных-то… Одново скажу: ты, вот, не нагуляй только. Кажный Божий день вижу, как девки гуляют да нагуливают.

Верка теперь и на нее посмотрела, похоже, не замечая. Мечтательно закрыла глаза, потом произнесла:

– Мы с тетьтаниным сыном ходили…

Бабка быстро опустила платок.

– Это со слепеньким-то?

– Скажешь, тоже… Он будто все видит. Обо всем рассказывает. Хорошо так и понятно. Вот только ходит нетвердо. Об меня все держался. Тепло с ним.

– Сдурела ты, Верка! Такую обузу на шею повесить хочешь… После локти кусать станешь. Попомнишь мое слово…

– Не стану, – засмеялась счастливая Верка. – Не приставай.

– Это я-то пристаю, я-то? – засуетилась жиличка. – Бог-то, он все видит!

– Все-все, – подскочила к ней пританцовывающая Верка и завертела, задергала, пытаясь расшевелить, сдернуть с места приросшие к полу худые старушечьи ноги, завертеть в бесшабашном каком-то вальс-бостоне. Наконец вдруг остановилась. И – с бешено колотящимся сердцем, с прической, растрепанной и смешной, не передохнув, а став сразу серьезной, в упор спросила жиличку:

– Может, он есть-то, твой Бог? Может, Он все это? Ну, то, что вокруг? Что с нами?

– Да кто ж Его знает…– стала тоже серьезной запыхавшаяся старуха. Перекрестилась на всякий случай мелко-мелко быстро дрожащей рукой и добавила: – Кто ж Его видел?

– Я бы теперь в Него поверила… Только зачем это Он обязательно сначала помучает, а потом наградит? Помучает и наградит.

– Это тебя-то Он мучил? Молчала бы уж! Сыта. В тепле. Руки-ноги на месте. Крыша над головой… Чего надо-то? Бог, Он других наказует. Глядишь, – человек в шелках да в достатке. Радуется, что всех провел, из-под всех вывернулся. А вот и нет! Тот день всегда наступит… Когда с него спросится и воздастся.

На улице было влажно и ветрено. Быстро проносились низкие пепельно-серые тучи. Сыпалась мокрая и холодная мелкая крупа, гуще и гуще темня все вокруг.

Верка задернула занавески и опять повернулась к старухе. Кажется, ей впервые в жизни понравилось говорить так долго и по-серьезному. А главное, еще много в ней оказалось такого, что ни однажды еще не было высказано. Но жило. Существовало, оказывается. Теплилось надеждой в горячей душе, прежде утопленной в темь и раскрывшейся вдруг нынче перед глупой жиличкою.

И той тоже понравилось. Она медленно присела на неразобранную кровать, положила на колени темные руки с живыми бугристыми венами, самостоятельно бьющимися под тонкою кожей, и стала говорить. Для Верки, для себя самой…

– Живет кажный человек так, как положено ему от рождения. Хорошо живет, не ломает в себе положенного, – хорошо и помирает. Плохо живет, мечется, суетится – вот вроде тебя в иной раз – и в последний свой час метаться станет. О душе не успеет подумать. А от часа такого, от него не сбежишь. Он-то, батюшка, для всех наступает. Так что поспешай, Верка, поспешай…

– Спешу, бабуля! Ой, как спешу… – спокойно ответила та. – Мне сегодня всех расцеловать хочется…

– И немца того? – ехидно вспомнила старуха-жиличка. – Их, говорят, домой отпускают?

– Да ну тебя, – отмахнулась Верка. – Стелись, давай. А-то свет затушу.

– И правда, – сказала та. – Слышишь, как задувает? К метели, наверно… Ты носки мои не видала? Надеть хочу. Пускай ноги-то ночью погреются. Хоть бы солнышка-то дождаться.

XI

Красная картонная коробка, похожая на пенал, шелковая кисточка на крышке. «Красная Москва».

XII

Я уже засыпал, когда мимо наших окон, метнув по потолку белые полосы света, с гудящими моторами, почти напрочь заглушенными бураном, медленно проползли две машины.

– Куда это они, на ночь глядя? – сквозь сон спросила удивленная мама. – Уже на вокзал, что ли? А говорили – завтра…

– На мост повезли, – из темноты ответил отец. – Там сегодня пути забило. Снег-то какой. Будто и не мартовский даже.

– Как раз мартовский, – заметила мама. – Спи…

Стало очень тихо и хорошо. Так бывает во всяком детстве, когда вокруг тебя пахнет домом, когда слышно, что где-то рядом спокойно дышит спящая мама.

Уже в полудреме почти мне привиделось, как где-то в снежной глубине синей ночи тонко просвистел сильно опаздывающий паровоз, скрипло тащащий за собой промерзшие седые вагоны. До этого он всегда проходил на три часа раньше.

А утром по железнодорожному мосту через наш главный Красный проспект вовсю грохотали другие поезда, наверставшие график.

Мост был чист, – убран от снега почти под метлу. Но, как малиновое варенье, несколько алых льдинистых капель, застывших и не потерявших своего цвета, оставались на нем до самой последней оттепели.

XIII

Сегодня я думаю: если бы мне знать, что в метельной, что в буранной той круговерти, на старом, нынче всеми забытом мосту будет той ночью насмерть сбит мой знакомый немец, – побежал бы я его предупредить, уберечь? Как тогда, от разгневанной Верки…

Не знаю.

Его никто не любил. И я не любил тоже.

XIV

Черненая готическая надпись «Solingen», рукоять – кость ребристая, бело-коричневая.

ОБ АВТОРАХ.

Устименко Алексей Петрович *родился в Новосибирске в 1948 году.*

Окончил Ташкентский государственный университет. Был собственным корреспондентом по Средней Азии ряда московских изданий, главным редактором литературно-художественного журнала «Звезда Востока», а также духовного и литературно-исторического издания «Восток Свыше».

Возглавлял Совет по русской литературе Союза писателей Узбекистана

Автор нескольких книг прозы, в том числе сборника рассказов «Когда стреляют на перевале», повестей «За кольцами далекого Сатурна», «Китайские маски Черубины де Габриак», «Тень победителя», «Догоняющий камень», «Хмарь стеклянной Бухары», «Полонез в Туркестанском халате», «Барса-Кельмес», «Была лишь пыльная метель без снега Рождества…», документальной биографии «Владимир – митрополит Среднеазиатский». В 2012 году в московском издательстве Елены Пахомовой (Литературный клуб «Классики XXI века») опубликован его исторический роман (в двух томах) «Странствующие в золотом мираже».

Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Иные берега», «Новая Юность» (Москва), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Сибирские огни» (Новосибирск), «NotaBene» (Иерусалим), «Hronos» (Даугавпилс) и других.

Член Союза писателей Республики Узбекистан. Живет в Ташкенте.

Раим Фархади *– Самарканд, 1942 год, врач, литератор, художник, переводчик узбекской поэзии на русский язык, автор многих книг, в том числе для юного читателя, изданных в Ташкенте, Москве, Лондоне, Сеуле, Праге, Кишиневе, Таллинне, Душанбе, Алма-Ате. Награждён орденом Дустлик (Дружбы), отличник народного образования, заслуженный деятель культуры Узбекистана. Главная тема его стихов и прозы – сбережение духовных ценностей, защита родной Природы, Мир, Добро, Любовь.*

Александр Станиславович Свистунов*, член Союза писателей Узбекистана, член Международного совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей России. В 1990-1991 гг. был ответственным секретарем Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов (ВТО МПФ) при ИПО «Молодая Гвардия» по Средней Азии и Казахстану. В 1991-1995 гг. – директор Издательско-производственного предприятия «Див», которым было издано 12 книг зарубежной фантастики тиражом от 50 000 до 200 000 экз. каждой. Его рассказы публиковались в журналах: "Компьютерра", Москва. «Полдень, XXI век», Санкт-Петербург. «Реальность фантастики», Киев. «HARD-n-SOFT», Москва. "Звезда Востока", Ташкент. Альманах фантастики "Полдень", Санкт-Петербург. Альманах "Лимонник", Тель-Авив. В 2017 г. в США вышла его авторская книга «Чудо по-русски».*

Низами Гянджеви – признанный корифей мировой культуры, преодолевший отведенное ему судьбой время и вошедший в вечность. Вызывает восхищение, что многие идеи Низами не только отражают его эпоху, но и ориентированы на будущее. Произведения великого поэта-мыслителя, с одной стороны, дают представления о духовном и интеллектуальном уровне общества, в котором он жил, с другой – ставят вневременные проблемы, отражающие смыслы человеческого существования, красоты и добра. В связи с 880-летием Низами Гянджеви ЮНЕСКО, культурная общественность многих стран вновь обратили пристальное внимание к его творчеству. В статье нашего постоянного автора, доктора философских наук, профессора Низами Мамедова сделана плодотворная попытка показать эвристическую ценность[1] идей Низами Гянджеви в осмысление современных научных и социальных проблем.

НИЗАМИ МАМЕДОВ

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИДЕЙ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

О юный друг! Вспомни обо мне, …
Слезу урони на обитель мою,
А я тебе – свет несказанный пролью…
И сможешь свершить ты деянье благое.
Низами Гянджеви.

Мысли Низами, изящно поэтически обрамленные, заняли достойное место в царстве великих идей. К ним явно или опосредованно обращались всегда, они придавали людям уверенность, надежду и словно «нить Ариадны» вели их сквозь темные периоды истории к свету.

Вневременная эвристическая ценность идей Низами определяется их глубокой осмысленностью. Они отражают ясное и четкое мировосприятие своего времени, не скованы религиозными догмами, высвечивают сложные проблемы современности, определяя возможные пути их решения.

Мудрость остается неоднозначным, во многих отношениях неопределенным качеством человеческой разума. Теологи придерживаются мнения, что человек способен лишь приблизиться к мудрости, поскольку только Бог обладает ею во всей полноте.

Гераклит Эфесский отличал мудрость от эрудиции и подчеркивал, что «многознание уму не научает». Из трудов Низами следует, что знание – необходимое, но недостаточное условие для проявления мудрости.

Идеалом познания считается умение отображать объекты в их взаимной связи и развитии. Мудрость же претендует на предвидение результатов развития, последствий принимаемых решений. Предвидя перспективы, человек пытается формировать благоприятное будущее, создает предпосылки управления им. Примечательно, что символом мудрости в античности была сова, поскольку она, в отличие от других животных, способна видеть в темноте, не двигаясь с места и только поворачивая голову.

Мысли Низами о сущности человека, любви, гуманизме, доверие, справедливости, должном нравственном облике правителя, социальной гармонии, бережном отношении к живой природе и сегодня не потеряли своего значения. Прошлое, воздействуя на настоящее, является основой преемственности в культуре. Английский этнограф Э.Б.Тайлор считал, что необходимо показать, в «какой мере представления и поступки современных людей опираются на прочную основу сегодняшних знаний, а в какой мере они являются продуктом знаний, которые возникли на ранних стадиях развития культуры».

[1] *Критерий, используемый для определения ценности теории. Адекватная теория должна стимулировать новые идеи для дальнейшего научного поиска.*

С былыми временами нас связывают язык, традиции, архетипы и многое другое. Из прошлого мы получили опередившие свое время фундаментальные идеи, мировоззренческие установки, повлиявшие на ход истории, которые выполняют эвристические, методологические функции в познавательной и преобразовательной деятельности человека. В этом отношении заслуживают внимания, например, атомистическая теория Левкиппа и Демокрита, доктрина Пифагора, что «все сущее есть число», антропологический тезис Протагора:«Человек – есть мера всех вещей…», этика Сократа, учение о свободе воли Пелагия… Именно в этом ряду следует рассматривать и значение творчества Низами Гянджеви.

Низами объединил доисламский и исламский духовный мир. Его глубокие знания древнегреческой философии, свободное обращение к античной культуре, поиск ответов на многие мировоззренческие, этические, эстетические вопросы в трудах античных авторов, их сопоставление с исламскими ценностями позволяют считать Низами предвестником эпохи европейского Возрождения.

В рамках своего исторического времени Низами Гянджеви был одним из немногих, кто верил в особую созидательную миссию человека. Он был убежден: осознание человеком самого себя, своих возможностей, понимание глубинного смысла любви, поддержание доверия между людьми спасут мир. А развитие на основе гуманистически ориентированного разума, вера в возможность царства добра и справедливости позволит преодолеть любые проблемы и создать счастливое общество.

Мировоззрение Низами, его поэтичекий стиль на протяжении многих веков оказывали громадное влияние на философов и поэтов стран Ближнего и Среднего Востока. В числе его последователей были такие великие поэты, как Саади, Хафиз, Руми, Джами, Физули и многие другие. Влияние Низами на культурные процессы на Западе в основном происходило опосредованно, через труды его последователей, которые оказались более доступными европейскому читателю.

Как показал А.Е. Крымский, в европейском востоковедении представление о Низами, его трудах было недостаточным вплоть до первой четверти XIX века. Европейские путешественники, посетившие Иран в XV –XVII веках, упоминали в своих записках в основном Джами, Саади и Хафиза, которые жили и творили после Низами. Только в конце XVII века в работе француза д'Эрбло «Восточная библиотека» были представлены первые сведения о Низами Гянджеви. Несколько подробнее о Низами было сказано в книге Джона Малькольма «История Персии», изданной в Англии в 1815г. Лишь в 1818 г. была издана книга австрийского востоковеда Йозефа фон Хаммера «История персидской изящной словесности», в которой дана достаточно полная информация о Низами и приведены несколько переведенных на немецкий язык фрагментов из произведений поэта. На основе данного издания Гете оценил поэзию Низами, «как нежный, высокоодаренный дух».

В своем развитии европейская культура прошла долгий путь: эпохи Возрождения (XIV-XV в.в.), Реформации (XVI-XVII в.в.) и Просвещения (XVII-XVIII в.в.). И все эти этапы развития в той или иной мере испытывали на себе влияние арабо-мусульманской и тюркской культуры, что признается в мировой исторической, философской литературе, в трудах Элизе Реклю, Уотта Монтгомери, Николая Трубецкого и других ученых. Именно это влияние изменило духовный и интеллектуальный климат Европы. Мрак европейского Средневековья, его жестокие догматические установки пошатнулись сначала в Испании, благодаря влиянию ислама, затем эта волна перемен, несмотря на жесткие преграды, все же через пару столетий (после появления в Анатолии Османского государства) охватила Италию, потом Францию и Германию. Новые философские, научные знания, которые осваивали европейцы, благодаря культурному взаимодействию со странами Востока, позволили сформировать гуманистическое мировоззрение, взгляд на социальную действительность, допускающий ее изменение в интересах человека.

О взаимоотношении религии и философии (науки).

Низами Гянджеви ценил и религиозное, и философское, и научное познание. К пониманию значения этих разных средств объяснения мира, судя по всему, он пришел, исходя из учения о «двойственности истины» Ибн Рушда (1126 - 1198г.г.). Суть данного учения состоит в разграничении философского (научного) и религиозного знаний как двух аспектов истины. Есть истина философии и есть истина религии, и они могут сосуществовать, если даже противоречат друг другу. Благодаря такому допущению (по существу, являющемуся аналогом принципа дополнительности Нильса Бора) относительно свободно развивалась философия и наука в арабо-мусульманской культуре в Средние века в отличие от Европы, где религиозная идеология монополизировала всю интеллектуальную жизнь.

В творениях Низами нет и намека на религиозный фанатизм, но он характеризует безграничную силу божественной любви, которую испытывает каждый верующий человек. Конечная цель всех людей, по его мнению, – это приближение к Богу.

В мире не было нас, ты же был изначально вечным,
Уничтожены мы, ты же в вечности жив бесконечно…
Речь назрела у нас, своего мы стыдимся усердия,
За незрелость ее да простит нас твое милосердие!

Исторически в европейской культуре абсолютизировались: в Античности – философия, в Средние века – религия, в Новое время – наука. Это проявлялось в способе мышления эпохи, особенностях познания и деятельности людей. Например, способ мышления средневековья определялся категорией Бога. Любой вопрос безоговорочно решался ссылкой на Создателя. В Новое время, под влиянием развития науки, доминирующей стала категория эволюции. Достаточно упомянуть космологическую теорию И. Канта, работы Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина в биологии, концепции Ж. Кондорсе, О. Конта, К. Маркса об эволюции общества.

Многие проблемы современного мира связаны с процессами глобализации. Происходит переплетение социальных, экономических, политических, духовных, культурных факторов развития, что, с одной стороны, подтверждает единство мира, единство человечества, с другой, – создает принципиально новую картину социальной действительности, требующую качественно нового подхода. Соответственно, методологической основой решения многих проблем нашего времени становится глобальный способ мышления. Более того, во многих отношениях неоднозначные, глобальные проблемы можно решать в сотрудничестве с религией.

Доверие как показатель состояния общества.

Низами Гянджеви в поэме «Сокровищница тайн» обращает внимание на то, что в обществе уменьшается доверие людей друг к другу, видит причину этого в неумелом управлении обществом, порождающем несправедливость. Такое общество, как он оправданно считает, не имеет будущего.

Где же теперь человечность? Ужель удалилась навек?
Человека любого страшится любой человек.
Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало?
Человеческих свойств в человеке давно уж не стало...
Все же иметь сотоварища всякому в жизни придется, –
Не гони же того, кто с тобою дружить соберется.

Сложные перипетии доверия и любви Низами показывает в поэме «Хосров и Ширин». Рядом с прекрасной Ширин, безгранично верной своей любви, и простым каменотесом Фархадом, олицетворяющим высокую нравственность, развертывается образ эгоистичного, непостоянного в любви шаха Хосрова. Драма заключается в том, что Ширин самозабвенно любит Хосрова, а Фархад – Ширин. Сложные взаимоотношения этих героев в поэме раскрываются на высоком художественном уровне. Показывается постепенная эволюция человеческих качеств Хосрова, который в конце поэмы возвышается до уровня трагического героя. С этими благородными изменениями Низами связывает и возможное улучшение положения людей в царстве Хосрова.

В современном обществе от меры доверия зависит качество жизни, эффективность экономического развития, адекватность социального и государственного управления. Главными признаками доверия являются откровенность, доброжелательность, готовность делиться информацией.

Все это после работ французского социолога Пьера Бурдьё в 80-х годах прошлого столетия связывают с понятием социального капитала, признанного важнейшим интегративным показателем развития общества. Данное понятие со временем приобрело ценностную окраску, отражающую нравственный климат, меру гуманности общества.

Доверительное общество в каком-то смысле можно представить как реализацию в социуме категорического императива Иммануила Канта: «... Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» .

При обсуждении категории доверия нельзя не вспомнить другого классика немецкой философии Людвига Фейербаха. Согласно его антропологической философии, человек относится к себе как к Богу, когда он видит божественное в другом человеке .

Однако существует дистанция огромного размера от нравственных требований, предъявляемых к обществу и личности, до их соответствия этим требованиям. В целом реализация этой возможности, как полагал Низами Гянджеви, требует значительных усилий. Доверие предполагает знание друг друга, определенное психологическое единство, общность целей, взаимопонимание.

Разве могут глаза в этом множестве друга найти?
Угадает лишь сердце, кто верность умеет блюсти…
Не стремись ты, как ветер, к дверям человека любого,
Не мирись ты, как воздух, с дыханьем любого дурного.
Все же иметь сотоварища всякому в жизни придется,
Не гони же того, кто с тобою дружить соберется .
Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час;
И поможет нам друг, и все нужное будет у нас.

Куда несет нас рок событий?

Низами был свидетелем бесчисленных войн, тяжелых социальных коллизий, сам пережил много трагедий. В преамбуле поэмы «Хосров и Ширин» он писал:

Спеши, о Низами, а то минует срок –
Неверны времена и вероломен рок.

Низами сознавал, что действительность сложна, последствия происходящих событий часто непредсказуемы.

Что ты тянешься к миру, к нему простираешь ты руки?
Не тобой он рожден, и рожден он для горькой разлуки…
В мир пришедший не может из мира души унести.
Ведь никто не узнал о безмерном, о тайном пути.

В монументальной поэме «Искандер-наме» он подчеркивает:

Хоть светильник любой может радовать светом,
Дальный мир остается в туманы одетым.

Многие мыслители предрекали человечеству беспросветное будущее. Они не сомневались в регрессивном развитии общества, в его движении от «Золотого века» к хаосу. Им казалось, что в основе всей действительности лежит не разум, а какие-то иррациональные силы. Это однозначно утверждали немецкие философы Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше.

На самом деле жизнь людей определяет *единство разума и воли*. Сейчас почти общепризнано, что как деятельность отдельного человека определяется единством осознаваемых и неосознавемых уровней психики, так и социальная деятельность определяется сочетанием коллективного разума и коллективного бессознательного.

Другими словами, иррациональные действия неизменно уравновешиваются рациональными, разумными доводами и мерами. Однако это, конечно, не спасает от впечатления, что человечество идет по острию ножа. Словно об этом думал Низами, когда в одной из Газелей обратил внимание на то, что:

Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана,
Бытие вези в страну души, хоть на миг спасая от изъяна.

Обобщенная трактовка гуманизма.

До Низами Гянджеви христианство и ислам объявили людей равными перед Богом, а в буддизме также была признана равноценность каждого человека. Низами религиозную идею равенства органично дополнил идеей справедливости. Впоследствии в XV веке эти идеи стали доминантой в европейской ментальности, они определили один из основных нравственных идеалов современной цивилизации – концепцию гуманизма.

Теоретики европейского гуманизма в отличие от Низами Гянджеви абсолютизировали желания и действия индивида, который должен был стремиться к самореализации посредством неограниченной преобразующей деятельности. Такая трактовка гуманизма вывела человека из природы и поставила его над нею, как того, кто может (а значит, имеет право) ее преобразовать и устроить по-своему (человеческому) образу и подобию. Это имело как позитивные, так и непредвиденные негативные социально-экологические последствия.

Абсолютизация индивидуализма привела к торжеству агрессивно-потребительских ценностей, усилила социально-экономическое расслоение и насилие в обществе. Жан-Поль Сартр писал, что когда под гуманизмом понимают теорию, которая «рассматривает человека как цель и высшую ценность», то это в итоге приводит к индивидуализму и фашизму.

Не случайно в 2010 году ЮНЕСКО объявила необходимость обоснования и формирования «Нового гуманизма». Спасти замысел гуманизма может идея ненасилия как к человеку, так и к природе. Предшествующие формы гуманизма были несовершенны, поскольку в них *ненасилие* не стало абсолютом, всесторонним системообразующим фактором. И вот что удивительно: представления Низами Гянджеви о

человеке, его миссии на Земле созвучны положениям Нового гуманизма. В поэме «Лейли и Меджнун», с одной стороны, следует призыв достичь величия, познав с помощью наук мир и себя, с другой стороны, рекомендуется «не преступать черту», т. е., соблюдать законы природы, мироздания, нравственные каноны. Особый смысл имеет в поэме сопоставление человеческого общества обществу зверей, иллюстрация их преданности и верности. По существу, здесь на основе метафорических смыслообразов удалось обобщить принципы гуманизма, это то, что в XX веке Альберт Швейцер реализовал в своей биоэтической теории.

Сейчас бережное отношение к растительному и животному миру, воспитание любви к природе становится одной из важнейших задач в нравственном воспитании индивида. Речь идет вовсе не о возрождении анимистических чувств, а об осознании необходимости для человека (как для его физического существования, так и для духовного обогащения) окружающей флоры и фауны и соблюдении обоснованной меры в преобразовании природы.

Смысл и значение любви.

Тема любви является лейтмотивов творчества Низами Гянджеви. Уже в первой своей поэме «Сокровищница тайн» Низами проводит мысль, что любовь является первопричиной бытия.

До поры, как любовь не явила дыханье свое,
В бездне небытия не могло засиять бытие …

В поэме «Хосров и Ширин» он возвращается к мысли об особой созидательной миссии любви.

О смертный, разум свой к раздумью призови,
И ты постигнешь: мир воздвигнут на любви.
Когда на небесах любви возникла сила,
Она для бытия нам землю сотворила.

Любовь – величайшее преимущество человека, считает Низами, возвышающее его, наряду с разумом, над всеми творениями Бога. Эта таинственная, безграничная сила, позволяющая человеку преодолеть любые препятствия, возникающие на его жизненном пути.

Нет, без любви ничьи не прорастают зерна,
Лишь в доме любящих спокойно и просторно.
Без пламени любви, что все живые чтут,
Не плачут облака и розы не цветут.

Мысли Низами о смысле и значение любви для гармоничного развития личности и общества опередили самые благородные феминистические теории:

Порой любовь – беспечная игра,
Вмиг промелькнет, как юности пора.
Но есть любовь – залог предвечных благ,
Влюбленных не отпустит ни на шаг.
Не превозмочь ее, не одолеть,
Она в бессмертье простирает ветвь.

Влияние внешних, социальных факторов на трагический исход взаимной любви показан в поэме «Лейли и Меджнун». Здесь возвышенная, светлая любовь в условиях жестоких, несправедливых архаических отношений приводит к гибели героев.

Низами пытается решить дилемму между любовью и разумом, между этими, казалось бы, несовместимыми проявлениями человеческой психики. Разум символизирует мудрость, интеллект, он холоден и расчетлив. Любовь – совокупность эмоций, интимных чувств, симпатий человека, она неподвластна разуму, это охватывающая душу озарение. Поэт, однако, убежден, что возможна и необходима ***гармония*** между разумом и чувством любви, это может определить горизонты целомудрия и меру нравственной чистоты.

Можно сказать, что в трактовке Низами любовь явление почти космическое, она существует вечно, не поддается бегу времени, не поглощается пространством. Влюбленный – не индивид, потерявший рассудок, а человек, мотивированный к высоким свершениям. Вряд ли согласился бы Низами с пониманием любви, выработанным сейчас Всемирной организацией здравоохранения, что любовь – «это болезнь, психическое расстройство».

Ценность многообразия культур.

Низами Гянджеви не делил народы и их культуры на лучшие или худшие, на развитые или неразвитые. Ему были интересны все народы с их самобытными традициями, образами жизни. Ценность многообразия культур для Низами была сама собой разумеющимся фактом. Он понимал, что отрицание значения диалога культур может быть причиной, порождающией этнические конфликты и войны.

Примечательно, что одна из основных идей ЮНЕСКО – сохранение многообразия культур. О значении, которое придается культурному многообразию в мире, свидетельствует принятая в ноябре 2001 г. ООН Всеобщая декларация о культурном многообразии. В ней культурное многообразие провозглашается как общее достояние человечества, подчеркивается неотделимость защиты культурного многообразия от уважения достоинства человеческой личности, что делает данную декларацию рядоположенной с Всеобщей декларацией прав человека.

Избежать унификации культур в условиях глобализации возможно на основе политики мультикультурализма, которая ориентирована на сохранение разнообразия культур без их ассимиляции. Мультикультурализм призван воспитать толерантную личность, способную понимать объективную многогранность социального мира и ценности различных культур.

В последние годы мультикультурализм подвергается критике на основании обобщения отдельных негативных фактов, связанных с возрождением архаических моментов традиционных культур, противопоставлением целостности общества мозаичных сообществ. Однако в условиях многонациональных и многоконфессиональных государств, когда гражданам должны быть предоставлены равные права и равные возможности, вряд ли можно обойтись без политики мультикультурализма.

Низами Гянджеви в поэме «Семь красавиц», раскрывая образы представительниц семи народов, красочно показал самоценность каждой культуры.

Шах открыл и стал на месте – сильно изумлен;
Будто бы сокровищницу там увидел он,
Дивной живописью взоры привлекал покой.
Сам Симнар его украсил вещею рукой.
Как живые, семь красавиц смотрят со стены.
Как зовут, под каждой надпись, из какой страны.

Низами, верный учению о возвышенной, нетленной любви, раскрыл мудрость красавиц, каждая из которых просвещала шаха Бахрама, рассказывая ему поучительные повести.

Каким должно быть счастливое общество?

В Европе в XVI-XVII веках появились социальные утопии Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Фрэнсиса Бэкона, в которых уделялось внимание возможным основам социальной гармонии. Но за четыре столетия до Нового времени в поэме «Искандернаме» Низами с прозорливостью великого художника описал общество, где нет голода и нищеты, люди, свободные от гнета и насилия, живут счастливо до глубокой старости.

Низами описал необходимые предпосылки счастливого общества. Здесь и идея диктатуры закона (почитание законов равно обязательно и для повелителя, и для подданых, по существу, это предтеча идей правового государства). В этом обществе перепоручение власти подчиненным не снимает с правителя ответственности за творящееся в его стране беззаконие. И что не менее важно: в поэме пристальное внимание уделено личности правителя (по-своему поставлен вопрос о роли личности в истории).

Представления Низами о происхождении государства в какой-то мере аналогичны воззрениям Платона и Аристотеля. Однако, соглашаясь с божественной концепцией появления государства античных авторов, Низами особо подчеркивает существенную роль человеческих качеств в управлении государством. Он однозначно представляет идеальное государство как бесклассовое общество, где люди свободны и равны.

Низами поясняет нетривиальность государственного управления, которое требует высоких нравственных качеств правителя, умелого проведения внешней политики, позволяющее избежать войны; разумного хозяйствования, обуславливающее отсутствие бедности и нищеты. Главное – правитель должен быть справедливым, считает Низами.

Справедливость лампада. Лампады пугается тень.
Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний день!

Справедливый правитель всегда будет пользоваться поддержкой своего народа.Жители утопического государства, художественно созданного поэтом, обращаясь к Искандеру, говорят:

Мы имуществом нашим друг другу равны.
Равномерно богатства всем нам вручены.
В этой жизни мы все одинаково значим.
И у нас не смеются над чьим-либо плачем....
И хранят небеса наше каждое чадо.

После увиденного Искандер мечтал таким же образом устроить жизнь в своем великом царстве.

Может ли жизнь быть вечной на Земле или об устойчивом развитии.

Философия, как известно, в отличие от точных наук рассматривает вечные вопросы, поэтому в философии современность и история совпадают. И ее задача не в том, чтобы непосредственно рассматривать естественнонаучные или технические

аспекты современности, а в том, чтобы обеспечить мировоззренческую, методологическую, культурологическую, этическую основу соответствующих решений.

Вместе с тем в наше время к извечным философским темам бытия, сознания, смысла жизни и другим добавилась принципиально новая тема единой судьбы человечества и сохранения жизни на Земле. Данная тема со второй половины XX века стала в центре внимания мировой общественности. Это инициировало принятие Организацией Объединенных Наций в 1992 году Концепции перехода человечества к устойчивому развитию.Тенденция исторического развития такова, что люди должны повернуться лицом к реалиям окружающей природной и социальной среды, развертывать деятельность на основе экологически ориентированного мировоззрения, новой, универсальной этики.

В этом отношении заслуживают внимания идеи Низами Гянджеви о необходимости гармоничного взаимоотношения человека, общества и природы. В «Сокровищнице тайн», например, обосновывается мысль, что природа и человек – это единый организм. Человек должен заботиться о животных, растениях, о чистоте источников. Замечателен рассказ в этой поэме о царе Фаридуне, который преследовал газель, но не мог ее догнать. Конь царя, вдруг обретя дар речи, говорит: нельзя убивать божью тварь, тогда ты убьешь в себе чувство красоты и свою духовную сущность...

Говоря словами Низами, чтобы устойчивое развитие было возможно, следует:

Так внимательно черпать из чаши природы,
Чтоб недвижными были подвижные воды.

Об авторе: Мамедов Низами Мустафа оглу, доктор философских наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, действительный член Российской академии естественных наук и Российской экологической академии, эксперт ЮНЕСКО

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Молния на юбке

Рассказ

Он давно хотел рассказать об этом эпизоде, потому что картинка время от времени вставала перед глазами и не давала покоя, картинка, которой уже много-много лет… «Надо бы написать, – лениво размышлял он, – надо бы как-нибудь хорошенько вспомнить и написать, как было на самом деле, не ретушируя былое (как обычно случается, независимо от автора, когда извлекаешь воспоминания из далекого прошлого и фантазия крепко переплетается с фактами), полузабытое, как в полусне, надо, надо…»

Но опять возникало что-нибудь срочное, придуманное, заказное, интересное с лихо закрученным сюжетом, и картинка отходила в темный уголок памяти и там пряталась скромно, без звука, тихо обливаясь слезами, забывалась на время…

В те годы город этот носил имя одного из легендарных революционеров, потом поменял свое героически-гремучее название и вернулся к прежнему, дореволюционному, и с этим названием у него ничего не было связано, потому что все чувства будило старое, утраченное. И он, студент одного из московских вузов начала семидесятых годов, поехал в этот скучный городишко, чтобы увидеться с девушкой, с которой расстался почти год назад и по которой неожиданно для себя стал вдруг скучать, внезапно обнаружив вокруг странную пустоту, что не могла заполнить ни одна живая душа. Удивительно, как может опустеть огромный город с отъездом одного человека...

Да! Было еще письмо. В те годы не изобрели еще мобильных телефонов и письма писали на бумаге, вкладывали их в конверт и отправляли по почте, и получатель мог прочитать письмо только через несколько дней. Вот такой долгий процесс. И недели через три после её отъезда, когда он только обнаружил её исчезновение, когда, позвонив ей, он услышал голос её матери, что почти ни разу не случалось, если сама она бывала дома, (повторил попытку – результат тот же, и еще одна неудачная попытка на следующий день), он получил письмо. Конверт был туго набит и еле вмещал исписанные убористым почерком листки из ученической тетради. «Ого! – подумал он, вытаскивая письмо из конверта. – Просто какая-то диссертация, а не письмо. Посмотрим, что тут у нас…»

Он начал читать, и первая же фраза заставила его саркастически улыбнуться, он будто видел свою улыбку со стороны и остался доволен. Что ж, молодости нравится любоваться собой со стороны.

«Не жди меня…»

«Не жди меня, – дополнил он про себя, дурачась и перефразируя классическое стихотворение о войне. – И я не вернусь, только очень не жди…»

«Не жди меня, – тем не менее, из чистого любопытства продолжал он читать. – Я не приеду. Ни теперь, ни потом. Никогда…»

Он поначалу даже не понял, от кого письмо, посмотрел на конверт, да, есть обратный адрес, ага, понятно, уехала, значит… И что?..

Он никуда не спешил и дочитал письмо до конца.

В этом письме она сводила с ним счеты, вываливала все обиды и всю боль, которую он ей причинил за время их совместной жизни, писала, что он обращался с ней, как со своей служанкой, как с тряпкой половой…

Ну, это перебор, – подумал он и, дочитав письмо до конца, хотел выбросить его – в таком он был веселом, приподнятом настроении, когда мало что принимаешь всерьез, – но что-то внезапно остановило, заставило поменять решение, и он, кое-как запихнув письмо обратно в конверт, зашвырнул его в ящик письменного стола, где лежали недописанная рукопись нового рассказа, начатая пачка сигарет, дешевая зажигалка, два французских презерватива (редкость по тем временам), подаренных сокурсником из Египта, грубо сработанный кастет из плексигласа, какие-то квитанции и еще много всякой непонятной дряни.

Но прошло еще время, которое для него то пролетало, то ползло, жизнь была вполне сносная, скучать не приходилось, жизнь была заполнена делами, учебой, студенческими пирушками, драками (лишний раз подтверждающими его неуживчивый характер и неумение ладить с людьми), новыми знакомствами с девушками, и как-то, когда он с похмелья искал утром свои носки, чтобы надеть их и отправиться в институт, и не мог нигде найти, и даже на всякий случай решил заглянуть в ящик письменного стола – ну, мало ли… – он вдруг наткнулся на это письмо, и, сидя перед письменным столом без носков и без брюк, которые крепко держал в руках, (будто боясь потерять и брюки), готовясь надеть их после носков, он стал читать письмо и будто впервые читал… И совсем неожиданно сделалось вдруг больно и горько оттого, что потерял её, он вспомнил её, проведенное с ней время, вспомнил их свидания, ну все, все до мелочей… Он постарался заглушить горечь, затопившую душу, избавиться от неё, не думать о прошлом, отбросить ненужные воспоминания… в какой-то мере удалось… но все же осадок, темный, тяжелый осадок оставался и весьма ощутимый.

И вот настал день, когда он вдруг почувствовал и очень сильно, что необходимо повидать её, что прошел почти год, и за этот год он так и не смог забыть эту девушку, и даже пожалел, что ни разу ему не приходило в голову попросить у неё фото, которое сейчас…

Впрочем, это было бы слишком сентиментально, слишком не характерно для него.

Она жила в общежитии института, в котором училась заочно; он приехал в это общежитие из аэропорта, маленького, грязненького аэропорта, показавшегося крохотным и жалким после аэродрома огромного мегаполиса, узнал у дремлющей у дверей вахтерши номер её комнаты и беспрепятственно (все ожидая, что может наконец-то эта бабуся очнется, окликнет его и станет препятствовать, как принято в подобных случаях, но не дождался) поднялся на второй этаж и, найдя её комнату, тихо постучал и, сразу же толкнув дверь, вошел в узкую комнату-пенал, рассчитанную на четырёх студенток, судя по количеству слишком узеньких, похожих на сиротские, кроватей.

Она стояла возле шкафа с овальным зеркалом на дверце и подводила глаза. Вот эта картинка постоянно вспоминалась, не давая покоя, слегка помучивая. Она опешила, увидев его, так неожиданно возникшего перед ней, и поначалу не нашлась, что сказать, тогда, выждав паузу, он произнес совсем не то, что собирался сказать и что готовил во время полета в самолете.

– А ты разве не у тети живешь? – спросил он, и вопрос прозвучал так, будто он специально прилетел в качестве полномочного представителя её матери, чтобы проверить, где и как она живет.

Она стояла перед зеркалом с кисточкой для туши и готовилась нанести тушь на ресницы второго глаза, а уже готовый, накрашенный, яркий глаз резко отличался от не накрашенного, и она напоминала клоуна, своей оригинальной, эксцентричной внешностью старавшегося привлечь внимание публики, но как бы её глаза не отличались один от другого, оба одинаково изумленно уставились на гостя. Она стояла

перед шкафом в своей до боли знакомой ему синей юбке с длинным замком-молнией позади, с которым она обычно не справлялась, и ему часто приходилось расстегивать и застегивать, и теперь – он бросил вороватый взгляд, чуть отстранившись, – молния была не до конца поднята. Он не знал, что сделает, что будет говорить, но втайне, очень глубоко, не веря и боясь даже мысленно озвучить свое желание, ему хотелось вернуться вместе с ней, но пока достаточно было просто видеть её.

– Нет, – сказала она. – Здесь мне удобнее.

– Вольнее? – язвительно спросил он. – Без надзора?

– Ты специально прилетел, чтобы наговорить гадостей? – холодно произнесла она. – Для этого прилетел?

И тут она вспомнила, как он порой бешено и безосновательно ревновал её ко всему, что проползало мимо и на что она не обращала никакого внимания, обращая внимание только на него одного, как часто он лез в драку, вроде бы не давая её в обиду, но в сущности за свои собственнические с нескрываемым апломбом права на неё.

И теперь он еле сдержался, чтобы не продолжить разговор в таком же тоне и не скатиться на ссору, которой и закончилось их последнее свидание, после чего она решила уехать.

– Нет, – сказал он, – не для этого…

Наступило молчание, она тихо вздохнула и принялась за второй глаз. Он почувствовал, как глупо было продолжать стоять, как школьник в ожидании наказания, и присел на край ближайшей кровати, стараясь оторвать назойливый взгляд от её лица; стал блуждающим и ничего не запоминающим взглядом оглядывать студенческую комнату, по-спартански обставленную: четыре кровати, четыре тумбочки у постелей и один довольно вместительный шкаф у двери. Но то и дело глаза его невольно устремлялись на неё, по которой он соскучился, на её лицо, по которому он соскучился, на не до конца поднятую молнию на юбке, которую он так хорошо помнил, и у него скользнула совершенно нелепая в сложившейся обстановке мысль, будто она специально надела старую юбку в ожидании его. Было заметно, что она напряжена, что её тревожат его быстрые мимолетные взгляды; а он заставлял себя не смотреть на неё, но у него плохо получалось.

Вдруг она резким жестом отняла от лица тушь, спрятала в косметичку кисточку, достала из шкафа полотенце и пошла к двери.

– Пойду, умоюсь, – сказала она. – Не буду краситься.

И вышла из комнаты.

Он остался один с разбросанными, неряшливыми мыслями в голове, которые никак не хотели укладываться в стройные, логические, что можно было бы спокойно обдумать, что-то решить, что-то предложить ей, что-то предпринять, если откажется от предложения; хаос царил в голове после ночной студенческой попойки, когда неожиданно для себя он вознамерился … и вспыхнула в ней яркая, как молния, мысль, ничем не обоснованная, что нужно, просто необходимо, просто обязательно и очень важно именно сейчас, сегодня полететь к ней, повидать её. И он, покинув веселую компанию, поймав ночное такси, поехал в аэропорт, где на его счастье (или наоборот) оказалось свободное место на нужный рейс в маленьком самолетике, вылетавшем через час в тот серый, как ему казалось, скучный город, где она теперь жила, обитала, существовала, наверняка начисто позабыв его.

Она вернулась умытая, без косметики, и он вспомнил её, какой она была по утрам, когда оставалась у него: вот точно такой, нет, не совсем, тогда была заспанной, чуть опухшей, как ребенок после сна, а сейчас просто не накрашена.

– Давай пройдемся, – предложила она. – Что здесь сидеть?.. Ты ведь впервые в этом городе?

– Да, – сказал он. – Впервые.

– Покажу тебе, что есть, чем богаты, – сказала она, деланно вздохнув, как озабоченный экскурсовод, который ничем не может похвастать, будто её вина в том, что нечего показывать. – Смотреть особенно не на что, это, конечно, не город-музей, но есть красивые улочки, которые я успела полюбить.

Эта её фраза неприятно кольнула его, будто она ему признавалась в любви к другому.

В большом городе, где оба они до этого жили, у них обоих были и любимые улочки, и любимые кафе, скверы и скамейки, все общее…

На пути у них был парк с цветущими кустами, яркими клумбами, что так любят жители провинциальных городов, с распустившимися листочками на ивах и тополях, и весна была лишним поводом для напоминания его чувствам, как он соскучился по её телу. Они жили вместе почти год, часто встречались, и он за тот год, можно сказать, редко изменял ей и не считал это изменой, потому что ни с одной другой женщиной у него так не просыпались, не вспыхивали чувства, как с ней, не обострялись до предела ощущения красоты, хаотичности и бессмысленности жизни без неё.

Они шли по парку рядышком, и тут она взяла его под руку, как тогда во время их долгих прогулок по улицам большого города, где они были так счастливы и часто ссорились по пустякам из-за его несносного характера.

Теперь, гуляя с ней по её, только её любимому парку, он вспоминал это чувство счастья задним числом, понимал его и переживал заново, потому что никогда не умел вовремя схватить момент радости и жить им именно в ту минуту, должно было пройти какое-то время, чтобы он полноценно ощутил это провороненное, утерянное яркое мгновение, которое, как обычно, заглушал или ненужной пустой болтовней, будто стыдясь такого откровенного чувства, охватившего его (словно он голый шел по солнечной улице сквозь толпу), или все сводил на неуместные, дурно попахивавшие шуточки, которые она, как всегда, напряженно улыбаясь, принимала, чтобы не обидеть его, кажется, понимая, отчего он в эту минуту такой циничный, гадкий, мерзкий… Ничего не говорила, ничего до последнего свидания, когда они всерьез и надолго рассорились.

А через какое-то время она уехала в город, где жила её родня со стороны матери и где она училась в каком-то занюханном институте на заочном отделении, куда вполне могла бы и не уезжать, по крайней мере – не уезжать так срочно, когда отъезд похож на побег.

– Сядем? – проговорила она, указывая кивком на скамейку, мимо которой они проходили.

– Не сяду, пока не услышу приговор, – пошутил он.

– Ну, присядем… – с таким видом, будто устала от его дурацких шуток (несмотря на долгий перерыв), поправилась она.

Присели.

Он чувствовал, что им не о чем говорить после долгой разлуки, впервые случившейся в их худо-бедно сложившейся совместной жизни, что у них теперь мало общего. Словно они только что познакомились и оба лихорадочно – чтобы не было скучно – ищут тему для разговора, он – чтобы было интересно ей, она – чтобы было интересно ему.

– Ну, – начала она. – Как ты?.. Как ты поживаешь?

Он не знал, что ответить и надо ли отвечать, потому что видел, что её теперь абсолютно не интересует, как он поживает.

Наступила тяжелая пауза, и ни он, ни она не желали её нарушить, но, с другой стороны, это напомнило ему их лучшие дни, когда молчать вдвоем было абсолютно не тягостно.

Они молчали, сидели на скамейке в парке, и каждый думал о своем.

А в это время в Шотландии, а именно в городе Эрвин с населением тридцать три тысячи человек, шел дождь.

Распалась его любимая группа «Битлз», песни которой звучали потом в его памяти долгие годы.

Полузабытому сейчас вождю мирового пролетариата Ленину стукнуло сто лет.

Председатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун обвинял СССР – где они оба: и он, и она жили – в установлении фашистского режима.

В Ираке произошел неудачный государственный переворот.

Иордания объявила об ужесточении контроля над палестинским партизанским движением.

Мир был такой большой, не охваченный никаким вирусом, Ковидом, не разделенный на больных, число которых стремительно возрастало, и здоровых, число которых стремительно уменьшалось; мир был такой открытый, раскрепощенный, свободный, но много еще всякой чертовщины происходило в нем, а эти двое сидели на скамейке в парке провинциального города, и им не было дела до того, что творится в мире, а миру не было дела до них.

И им, пожалуй, не было дела и друг до друга… но когда они кончили молчать, и она встала со скамейки и сделала шаг в сторону общежития, из которого они недавно вышли, оглянувшись на него и словно приглашая последовать за ней, он вновь обратил внимание на не до конца поднятую молнию на её старенькой синей юбке. Он уже невольно протянул руку, чтобы, как раньше, поднять эту капризную не застегивающуюся до конца молнию, когда вдруг что-то, как выстрел, обожгло ему грудь. Он глянул на неё, но она уже отвела от него короткий равнодушный взгляд, и тогда он тоже поднялся и последовал за ней.

Они пошли рядом, но на этот раз она не взяла его под руку.

Он готовился нарушить такое напряженное молчание и нарушил.

– У тебя уже кто-то есть?

Как ни прозвучало банально, тривиально, но он должен был произнести эту фразу – сжигая грудь, она дошла до горла, застряла там и просилась наружу, эта фраза.

– Что значит – уже?! – возмущенно произнесла она. – Ты что, считаешь, что я…

Очередная искра: еще немного, и они бы начали именно с того, на чем закончили год назад, что для неё послужило весомым поводом для того, чтобы оставить его и уехать.

И тут, вспомнив их бесконечные споры и скандалы, и примирения, и обиды, и расставания, и радости новых встреч, он вдруг понял, что именно, кого именно он потерял. Одиночество и пустота, оскалив свои звериные морды, выходили из тумана, как немец, который выходил из тумана в далекой детской считалке, вынимая ножик из кармана. Такая девушка вряд ли еще будет у меня, подумал он тогда. Но все равно он был счастлив, это было тяжелое, горькое счастье, но все-таки это было пронзительное чувство, и оно, это чувство, жило в нем, и он жил им, а в ней угасло, и ему было жаль её и хотелось помочь ей, ну, хотя бы застегнуть эту проклятую молнию на её такой до мелочей знакомой юбке. И он протянул руку, приблизившись к ней сзади, и дотронулся.

– Ты что, спятил?! – с места в карьер рассвирепев, тихо прикрикнула она, сделав страшное лицо. – Здесь тебе не Тверской бульвар…

И это было сказано с такой озлобленностью, что он опешил и понял – она ненавидит все, что связано с ним, с тем потерянным для неё временем, которое они прожили вместе, с теми местами, где любили бывать…

Конечно, он был виноват, что она уходила, прежде всего – он сам был виноват, что не ценил её, хорошо сознавая, что он молод, окружен женщинами и что никакого одиночества он не боится.

Кроме того, он любил одиночество, путая это понятие с желанием порой оставаться одному. Но одиночество имело множество ликов, и для него оно показало теперь самый ненавистный, поганый свой лик: оставаться одиноким, окруженным многочисленными удовольствиями, женщинами, приятелями, всегда готовыми участвовать в пирушке вместе с ним и от души посмеяться над его одиночеством.

– Ладно, – сказала она с напускной грустью в голосе, интонации которого он научился различать уже давно. – У меня сейчас начинаются занятия, я не смогу проводить тебя… Ты не обидишься...

Это прозвучало не вопросительно, как обычно спрашивают, словно она тоже изучила его вдоль и поперек, и уверена, что не обидится.

– Нет, конечно, – сказал он, – но я бы хотел на прощание заняться с тобой… – и он, по-шутовски улыбаясь, сделал неприличный красноречивый жест.

– Не говори глупостей, – сказала она спокойно, как говорит мать с неразумным капризным сыном, – погоди, я тебя поцелую на прощание, – прибавила она, потянулась и поцеловала его в лоб, и когда он отстранился после поцелуя, неожиданно перекрестила его.

Это было забавно, настолько её жест был естественным и в то же время театральным, хотя никого не было поблизости, парк был пуст, все студенты доедали свои сосиски с капустой.

– Ты что? – улыбнулся он. – Я же не христианин. Забыла?

– Нет, – улыбнулась она в ответ. – Помню. Еще как помню. Дикий мусульманин. Все еще с кастетом ходишь?

Он тоже поцеловал её на прощание.

– Подожди, – сказал он. – Дай все-таки я застегну тебе молнию.

Он поднял молнию до конца на её юбке сзади. Получилось быстро и ловко. И на этот раз она не стала возражать. Одним словом, простились хорошо, полюбовно, как говорится. И он полетел обратно в свою жизнь. В свою одинокую жизнь, которая поначалу, после расставания с ней, становилась все более одинокой, но вскоре пришла в норму, так как беспечная, беззаботная юность не любит долго тосковать по прошлому, и он уже не чувствовал одиночества, но эту девушку, одну из многих в его молодости, но такую не похожую на остальных, на этих самых многих, он помнил долго, очень, очень долго.

И в тот день, когда они простились, в Шотландии, а именно в городе Эрвин с населением тридцать три тысячи человек, шел нескончаемый дождь, и было так грустно…

АЛИНА ТАЛЫБОВА

«РАССЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА…»

ПЕРЕВОДЫ ИЗ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ

Как известно, судьба является нам в самых разных обличьях – несколько лет назад она предстала передо мной в виде заурядного почтового конверта, в котором обнаружилось приглашение на участие в Международной переводческой мастерской, организованной Словацким Литературно-информационным центром. До той поры Братислава для меня была лишь названием столицы новообразованного в эпоху тотальных перемен в европейской географии государства. Небольшая Словакия сегодня мужественно прокладывает себе путь в неспокойном мире, где членство в Евросоюзе отнюдь не спасает от болезненных проблем, терзающих всех нас – безработицы, экономических обвалов, национальных конфликтов, духовного обмельчания, утраты культурной самобытности… Мои словацкие друзья и коллеги искренне хотят, чтобы голоса их поэтов и писателей были услышаны в многоголосье огромного мира – и, безусловно, лучшего посредника в этом, чем художественный перевод, трудно предположить. Та поездка стала для меня временем самых разных открытий – в том числе и классической, и современной словацкой поэзии. Убеждена, что сегодня, когда после затянувшейся на десятилетия паузы мы восстанавливаем литературные связи с нашими ближними и дальними соседями, эта переводческая подборка могла бы стать еще одним надежным мостом, соединяющим литературы и народы наших стран.

МИРОСЛАВ ВАЛЕК
(1927-1991)

Утро, восемь.
Деревья в цвету,
псы лежат у дверей.

Ветры спят.
Мне хочется думать сейчас о стихах.
Я копаюсь в сознанье,
листаю его, как потертый альбом
с теми фото,
на которые ты сегодня уже совсем не похожа,
о которых сама ты давно позабыла…

…Не волнуйся –
я больше тебя никогда и ничем не встревожу.
Все – путём, все нормально –
спину прямо,
оружье к ноге!..

ЛИДИЯ ВАДКЕРТИ-ГАВОРНИКОВА
(1932-1999)

Мечта

**Забраться в стих
как косточка в плоть вишни**

**Им обернуться
словно полами плаща**

**Им пропотеть
как собственною кожей**

**В нем упокоиться
как в собственной могиле**

(Слова…слова… слова…)

**Длись, стих мой, длись!..
Слетай-ка к старой иве
шепни в ее дупло
чтоб не расслышал
никто:
что, мол, поэт-то –
голый!..**

**Слова. Слова. Слова.
Вот вся одёжка поэтова –
не больше
и не меньше.**

Ветер

**На старте осторожен
как слепец –
нащупывая дверь
скользит по дому.
Бодается с окном –
задребезжит стекло,
застонут стены,
все трубы в доме
взвоют от тоски…**

**Он барабанной дробью
взрывается в ушах
пустых кувши́нов**

**Затем на двери клацает щеколда
(как будто полдень бьют
каминные часы,
в то время как углы кукуют полночь)**

А ветер, между тем,
втянувшись внутрь
сквозь полые басы скрипичной деки,
уже вовсю выводит на всю церковь
псалмы, исполненные благолепия

...И ты беззвучно
их шепчешь ветру в такт

СТЕФАН СТРОГАЙ
(1940)

Старинная картина

Таинственная дева проскользнула
однажды утром в сон мой
(перед этим
он был тревожен, обрывочен
и полон разных страхов...)
И вот – она пришла:
нагая, совершенная,
русоволосая,
исполненная жизни,
словно подсвеченная
лампой
неясной со спины.
Бесстрастная и снежная –
и, вместе с тем,
и страстная, и нежная.
Но было лицо ее
печально бесконечно

...Что ж, не раз
Смерть представала нам,
художникам,
вот так –
в обличье ангельском своем
(одном из многих)

Офелия

Офелия,
уже слегка в годах,
в морщинках паутинных возле рта
и дивных глаз,
имеющая мужа, дом и сына –
безропотна и счастлива
(возможно)

Но временами
(так, не слишком часто)
вдруг нет-нет да и вспомнит
себя той девой:
в снежном облаченье,
сама белее снега,
на волна́х
протяжных вновь колышется она –
прекрасна
и мертва

Отложенный Апокалипсис

Наш взгляд прикован
к ожиданию Конца

Наш Апокалипсис
помельче прочих –
он так демократичен
и щадящ,
что большинству из нас
практически не виден
Он убивает,
но – дружески,
он полон эротизма,
он будоражит тем,
что вновь сегодня
отложен на денёк-другой...

Но страшнее всего –
он снова заставляет нас поверить,
и втайне надеяться,
и глупо ожидать
что то, что безнадежно
в нас умерло вчера,
вновь расцветет
во всей своей красе
в ближайшем мае

КАМИЛЬ ПЕТЕРАЖ
(1945)

История камня

Бессрочно
камень ждал, и ждал, и ждал
свой час, свой шанс...
И вот –
свершилось!..
Прохожий мальчик,

наклоняется к нему...
И – отбрасывает на полшага
подальше
все на той же
пыльной тропке

ДАНА ПОДРАЧКА
(1954)

Стакан воды

Я был разбужен в темноте ночной
приснившимся мне голосом, молившим:
«Стакан воды!..»

Я слышу и сейчас – тот тихий
упорный плач
идущий из глубин
всех не заросших детских родничков,
с одров предсмертных
или из трещин рассохшейся земли
под пилигрима стопою

...Я встал, прошел на кухню,
налил стакан воды и выпил залпом –
за всех, кто жаждет

И за того, невидимого,
кто, лишившись тела,
бессилен сделать что-то в этой жизни
без помощи моей.

МАРИАН ХАТАЛА
(1958)

Сыну, которому исполнилось пять часов и двадцать минут

Итак, вот он!..
Да, правда, этот мир несовершенен,
но все же оказался хорош достаточно
для нас, родителей,
чтобы дождаться в нем –
тебя,
торжественного твоего прибытья.

Ты плачешь...
Ты еще не видел жизни
а – плачешь.
Ты с миром не знаком еще –
а плачешь.
Ты даже не коснулся его на ощупь
но все же –
плачешь, плачешь...

...Ну а когда ты все-таки его
постигнешь,
распробуешь, коснешься, разглядишь –
я обещаю:
ты расхохочешься
(рыдать не прекращая)

Эра потребления
(О людях и вещах)

Сначала нам не нужно ничего
потом – чуть-чуть,
потом:
«Хочу вот это!..»
Затем:
«Хочу ещё, ещё, ещё!..»

Ещё, ещё плюс новое «ещё»
равняется:
«Могу себе позволить
и то, и это!..»
И позволяю.
И живу с ним –
не могу с ним больше жить –
и не хочу владеть им!..
А в конце концов –
«Хочу всего, и сразу!!!»

Невозможно
поверить
как много в этом мире ерунды,
в чем нам нуждаться
вовсе нет нужды.

ЭРИК ОНДРЕЖИКА
(1964)

Неспелые яблоки

Те яблоки, что падают в траву –
не до конца налившиеся соком,
но им осточертело ожиданье
Они боятся, что иссякнет лето
и вот – попрыгали ему в объятья,
на ложе трав

И кто, скажите, не возжелал бы
лежать вот так,
раскинув руки,
босым и потным, среди павших яблок,
под деревом, нависшим над тобою
с головой, хмельной от ароматов
цветов и фруктов,
слушая вполуха осы садовой
отрезвляющее пенье

Но яблоки, конечно, покраснеют
в свой срок,
чтоб наполнить наши рты
своею бесконечно сладкой болью

...Я напишу на облаке случайном
твое единственное имя
и вновь почувствую себя осиротевшим,
когда осенний ветер
его подхватит
и погонит прочь вдоль неба

АЛЕКСАНДР ХАКИМОВ

ДОБРЫЙ ДРУГ, МИЛЫЙ ДОМ...

Светлой памяти Фарида Алекперли посвящается

7 апреля 2021 года я остался без одного из самых лучших друзей, которые у меня были. Остался без одного из самых лучших людей, которых знал в жизни. Избегая громких, высокопарных слов, я скажу, тем не менее, что такие люди, как он, составляют самый ***цвет*** азербайджанской нации, так что тяжелую утрату понесли и наша страна, и национальная наука.

Я имею полное право так говорить, потому что я был знаком с Фаридом Алекперли очень давно – целых сорок лет... Тогда, 1 сентября 1981 года, не был он еще ни профессором, ни доктором исторических наук, ни авторитетным специалистом в области истории медицины, перед которым распахнул двери сам Ватикан – а был он, как и я, студентом-первокурсником биофака Азербайджанского госуниверситета. Мы с ним оценивающе оглядели друг друга – и сели за одну парту. И так просидели, за одной партой, все последующие пять лет...

Нас очень многое сближало, и мы всегда держались вместе – в студенческих аудиториях, на практике, в ***«поле»***, в экспедициях... Мы обменивались книжками и вместе ходили в кино (предпочитая фантастику). Мы пытались написать фантастический роман в соавторстве. Мы не расставались еще долго и после окончания университета – нас как магнитным полем удерживали дружба и общие интересы. И я не уставал поражаться качествам, коими Фарида щедро наделил Господь.

Так, например, обладая широкой эрудицией в самых разных областях науки и искусства, Фарид умел углубляться в выбранную тему настолько, что становился всемирно признанным авторитетом в данной области... ***«Специалисты подобны флюсу, поскольку растут только в одну сторону»,*** – не про Фарида сказано. Он был энциклопедист.

Будучи веселым, дружелюбным, открытым, контактным, одним словом, – он в то же время не допускал и тени амикошонства по отношению к себе, и это выходило у него само собой, без напряга; просто все чувствовали, что есть некая черта в отношениях, переступать через которую просто не нужно. Кстати, за все годы, что я знал Фарида, я видел его рассерженным лишь один раз... С другой стороны, он, происходя из почтенной, интеллигентной семьи азербайджанских ученых, никогда не чинился, не возносился и не высокомерничал

Ученый до мозга костей, Фарид был в то же время набожным человеком. Его набожность не была данью моде или некоей традицией, и была она далека от фанатизма или слепого поклонения. Нет, Фарид размышлял, искал ответы на вопросы Бытия не только в науке, но и в религии, для него и Коран, и средневековая литература на арабском и фарси были материалом для размышления. А в соблюдении обрядов он видел не только автоматически выполняемые действия, но и скрытый в них сакральный смысл...

Фарид умел работать. Он умел работать серьезно, сосредоточенно, часами и сутками, отключаясь от внешнего мира и с головой уходя в материал... но он умел и отдыхать! Улыбнувшись, потянуться, хрустнуть пальцами, откинуться в кресле или на диване и с видимым наслаждением выпить стаканчик-другой ароматного, крепкого чаю, поговорить на отвлеченные темы, пошутить, посмотреть видеокассету с шоу Бенни Хилла, например, которого мы оба любили, или поспорить о том, одолеет

комиссар Каттани мафию или не одолеет... Это был ***расслабон*** в самом позитивном смысле этого выражения. А потом – снова за работу!

Удивительно, но, являясь – неосознанно – гражданином Вселенной, Фарид был в то же самое время настоящим патриотом Азербайджана, который видел свой патриотизм не только в искренней любви к родине, но и в серьезном труде во славу ее. Без шума, без помпы, без горлопанства, без показухи – работой, работой и еще раз работой. Потом уже, бывая в разных странах, Фарид своей деятельностью не только приближал весь мир к Азербайджану, но и знакомил с Азербайджаном весь мир. И это в те воспаленные времена, когда слава о нас, благодаря недругам, по миру шла неважная... Фарид был дипломатом от науки, а это, на мой взгляд, – одна из самых действенных форм дипломатии...

Еще меня поражал его характер. В том смысле, что он, будучи человеком достаточно серьезным, практически всегда был уравновешен и бодр, оптимистичен... На все происходящее он взирал с добродушной иронией и при случае умел умно пошутить или необидно сострить. Знающий массу языков и глубоко разбираясь в истории, биологии, космогонии и прочих страшных вещах, Фарид мог с ходу сочинить эпиграмму, смешной стишок, пародию или нарисовать карикатуру. На любую тему. Причем рисовал он шариковой ручкой... В моем личном архиве хранятся некоторые его рисунки.

Фарид мог написать солидный научный труд, совершенный во всех отношениях... а потом вдруг сочинить научно-познавательную сказочку для детей! Или вообще – пародийно-приключенческий рассказ, ужасно смешной, нечто вроде «Запаха лимона» Льва Рубуса, если вы понимаете, о чем я говорю... Все это делалось экспромтом, нужные наработки шли в дело, а прочее – небрежно смахивалось в ящик стола, на потом...

И еще. Он был настоящий Друг. Как бы ни был он занят – а занят он был, что называется, под завязку, я это отлично знал, – Фарид всегда уделял время друзьям, которые попали в беду. Я знаю это по себе. Фарид никогда не отмахивался от чужих проблем – он приходил на помощь и делал все, что было в его силах. Много было эпизодов, но в память мне врезался больше всего этот, из середины 90-х... Я, похоронивший мать, ослабевший и изголодавший, с трофическими язвами на ногах, в лихорадке... на улице осенний дождь, через дырявую крышу в комнату льется вода в подставленные тазики, сковородки, кружки... а Фарид, присев на табурет рядом с моей лежанкой, разгружает сумку с принесенными продуктами и лекарствами, книгами и журналами, приговаривая: ***«Вот, чем Бог послал, со мной переслал...»***, а потом, дав мне микстуру, начинает меня развлекать, болтая о всякой всячине и морщась всякий раз, когда за шиворот ему залетала дождевая капля... и, в конце концов, поднимает воротник пальто, при этом не прекращая разговора... И мне от одного его присутствия становилось легче, а уж от принесенной снеди, лекарств и от заваренного им чаю – совсем хорошо...

Ну скажите – разве такие люди должны умирать?!

Но умирают ведь... и безвременно.

Покойся с миром, Ученый, Друг, Человек. Я никогда не забуду добра, которое ты мне сделал. И постараюсь передать его по кругу, как призывал любимый нами обоими Рэй Брэдбери.

Пусть то, что я скажу сейчас, прозвучит несколько кощунственно, но... Мне почему-то кажется, что у Фарида с Богом состоится беседа напрямую, и Фариду будет интересно с Богом, а Богу будет интересно с Фаридом...

Я могу многое рассказать о своем ушедшем Друге. Есть что вспомнить. У нас были живые, яркие, интересные, насыщенные смыслом годы, мы были активными, полными энтузиазма.

Вот несколько таких историй.

НАЧАЛО, ИЛИ СНЯТСЯ ЛИ РЕДАКТОРАМ ГОВОРЯЩИЕ МЕДВЕДИ?

1983. Второй курс биофака Азербайджанского госуниверситета.

Нас, парней, в группе было пятеро: Фарид, Азад, Рамиз, Исмаил и я. На лекциях, как правило, мы сидели на ***«камчатке»***, за самыми задними партами. У всех у пятерых имелся литературный дар – вернее, способность неплохо излагать свои мысли на бумаге. И вот мы придумали своеобразную игру. Перед началом лекции-двухчасовки мы вооружались двойными листками бумаги, выдранными из тетрадей, и ручками; потом тянули жребий – раздавали темы… Вернее, дело обстояло так: каждому из нас предстояло за время двухчасовки сочинить связный, полноценный рассказ. Непременные условия: рассказ должен быть юмористическим, и в нем должны фигурировать мы, все пятеро. А время и место действия доставались по жребию. Скажем, Исмаилу выпадает «Дикий Запад, девятнадцатый век». Мне – «Южная Америка, пятнадцатый век». Рамизу – «Чикаго, времена «сухого закона». И так далее. К концу лекции мы сдавали одному из нас все листки и потом, на перемене, за чаем в университетском буфете, вслух зачитывали то, что получилось. Это было нечто! За наш столик подсаживались ребята с других курсов и факультетов, слушали и хохотали до упаду. Это действительно было весело. Как нам, авторам, так и нашим героям нередко приходилось выкручиваться из самых запутанных ситуаций. Помню, как-то раз Фариду досталась «тухлая», казалось бы, тема: «Антарктида, наши дни». Так он с блеском вышел из положения, написав потрясающий рассказ! Игра длилась более года. Можно сказать, это были своеобразные литературные тренинги. А наше спонтанно возникшее творческое объединение получило название ***РАФИС***, по первым буквам имен (Рамиз-Азад-Фарид-Исмаил-Саша).

К величайшему сожалению, мне не известно, сохранились ли наши опусы, и если да, то у кого они сейчас. А может, их давно уже выкинули за ненадобностью. Ведь в молодости к своему труду относишься легкомысленно, не бережешь его плоды, разбрасываешься налево-направо. Только с годами начинаешь понимать истинную ценность таких вот с виду несерьезных упражнений. Эх, собрать сейчас все те наши работы и издать отдельной книжкой – то-то была бы вещица! Крутяк! А если еще и учесть, что Фарид рисовал уморительные иллюстрации к нашим сочинениям, рисовал обычной шариковой ручкой или даже простым карандашом!…

В дальнейшем литературой заниматься продолжили лишь Фарид и я, для остальных это так и осталось временной интеллектуальной забавой. Разумеется, главную роль для него и для меня сыграло в первую очередь страстное, неистребимое желание писать. Но истоки наших с ним литературных успехов – там, в 83-м. Наше мастерство, можно сказать, ковалось на задней парте во время тоскливых лекций по политэкономии и истории КПСС…

Известные многим «Биологические сказки» Фарида Алекперли рождались буквально на моих глазах. В определенной степени я был даже соучастником их появления на свет – в небольшой, правда, степени.

Было это в начале лета 1985-го, помнится. Фарида охватило сильное желание написать научно-популярные сказки для детей, в которых в легкой, доступной форме рассказывалось бы о сложных и важных вещах. Поскольку мы много времени проводили вместе, он делился со мной планами, показывал отпечатанные на машинке черновики, читал вслух отрывки, советовался по тому или иному вопросу, ибо ***«свежий глаз»*** со стороны мог сослужить добрую службу. Местом действия Фарид выбрал азербайджанский лес, главными героями – медведицу и ее сынка-медвежонка. Медвежонок выполнял роль шибко любопытного ребенка, всюду сующего свой носишко и надоедающего своими вечными ***«почему?»***, а медведица по ходу объясняла ему, почему листья зеленые, почему у елок хвоя, кто такие грибы, какая связь между гусеницами и бабочками, отчего по утрам бывает роса, почему одни звери щиплют

травку, а другие – едят мясо, как кто охотится, почему надо беречь деревья, почему пчелы живут большими семьями и как они делают мед, какие огромные подземные города строят неутомимые муравьи, для чего некоторые птицы исполняют очень красивые песни… да мало ли еще чего! Ведь это ***Лес***!

Из объяснений мамаши-медведицы любознательный медвежонок открывал для себя мир и узнавал массу интересного. А вместе с ним – и предполагаемый читатель-ребенок (сказки были рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста). Казалось бы, схема нехитрая и неоднократно использованная, но в исполнении Фарида она заиграла новыми красками (уточню, что ему в ту пору был 21 год, а мне – 25).

Поскольку Фарид был ***сам с усам***, моя помощь понадобилась всего лишь раз: я заметил, что некоторые объяснения медведицы слишком уж умны для лесной твари, пусть даже и прожившей нелегкую жизнь, но не кончавшую никаких ***академиев***. И я посоветовал Фариду ввести в ткань повествования еще одно действующее лицо – ***Человека***. Хорошего, доброго Человека, натуралиста, фотографа, художника… Наиболее сложные объяснения можно было бы вложить в человеческие уста, не боясь никакой натяжки. Фарид, подумав, согласился. Человек давал возможность осветить еще одну тему – тему дружбы людей и диких животных, основанную на взаимоуважении. Это был Человек-без-ружья, Человек-с-фотоаппаратом, Человек-которого-не-надо-бояться… Медведица и ее малыш легко сошлись с новым действующим лицом, многие прогулки по лесу совершали уже вместе и вместе же переживали разные приключения. Человек появлялся не всегда, чтобы не надоесть читателю раньше времени, но в тех случаях, когда требовались серьезные и квалифицированные разъяснения чему-либо. ***Занудой*** он не выглядел, скорее, наоборот.

В общем, хорошие получились «Биологические сказки», добротные, как раз то, что нужно любознательным детишкам, особенно городским, которым из четвероногих животных был известен чаще всего стул…

Однако написать сказки – это всего лишь полдела. Теперь надо было опубликовать их или, как говорилось, ***«пробить в печать»***.

Фарид избрал для этого популярную газету для пионеров, выходившую на азербайджанском языке. Он уложил все машинописные листы в папку, завязал ее тесемочки и нанес визит в редакцию, предварительно созвонившись с одним из редакторов. Тот обещал не откладывать дело в долгий ящик, прочитать сказки прямо при авторе и тут же вынести свое суждение.

Мы условились, что сразу же из редакции Фарид заскочит ко мне и расскажет, что и как. А я заварю свой фирменный чай (из коробки ***«со слоном»***) и буду держать за друга большой палец.

…Когда Фарид появился у меня, я обмер. За несколько лет учебы и дружбы я всякого Фарида повидал, но такого, у которого из ушей и ноздрей валил бы дым, как у сказочного чудовища, – еще ни разу.

Из его рассказа выяснилось вот что. Редактор, ветхий днями и убеленный сединами сухопарый старец, предложил Фариду сесть в кресло и неспешно прочитал все «Биологические сказки». Потом снял очки, внимательно посмотрел на Фарида и после томительной паузы произнес: ***«Но ведь медведи не разговаривают»***.

Я часто сравнивал Фарида Алекперли с легендарным Ходжой Насреддином, поскольку оба они никогда не лезли за словом в карман. Но тут, по словам Фарида, он просто потерял дар речи и битых минут пять пытался что-то беззвучно возразить. Потом пришел в себя и стал возражать акустически. Он говорил, что это ***сказка***, что в сказках разговаривают не только медведи, но и волки, и лошади, и собаки, и кошки, и петухи, и лисицы, и слоны, и орлы, и рыбы, и крокодилы-бегемоты, и обезьяны-кашалоты, и даже зеленый попугай, и что в сказках умеют разговаривать даже растения, а зачастую и стихии – ветер там, вода, мать-земля, солнце и луна, и что у

отдельных сказочников, Андерсена, например, или Кривина, разговаривают и вовсе неживые предметы, вроде чернильниц, башмаков, шкафов и дверных ручек… Но ветхий днями редактор оставался непреклонен. На него не действовали никакие аргументы. Он стоял на своем: медведи – это животные, а животные на человеческом языке разговаривать не умеют. И точка. И старец предложил свой вариант.

Человека, сказал он, следует вообще выбросить вон. А медведицу с медвежонком заменить на людей. Пусть это будут старый лесничий (***«мешябейи»*** по-азербайджански) и его маленький внук, чисто городской ребенок, приехавший в гости. И вот пусть многоопытный дедушка и объясняет внучонку все премудрости жизни Леса…

Представив, что пережил при этом Фарид, я схватился за сердце. Не то чтобы я не уважал ***мешябейи***, но такой подход лишал фаридовы сказки половины, если не больше, их прелести и делал ее ординарной, вовсе не сказочной, вовсе не волшебной…

Короче, редактор дал Фариду неделю на переделку сказки. Через неделю он ждал автора с новым вариантом, который намеревался сразу сдать в печать – сама сказка редактору понравилась, поощряемый начальством научно-познавательный материал…

Однако Фарид своих говорящих медведей вот так, за здорово живешь, сдавать не собирался. Нет, он, морщась и ругаясь, сотворил требуемый второй вариант, с лесником-дедушкой и его внучком, но собирался взять с собой в редакцию и первый вариант и попробовать в последнюю минуту убедить ветхого днями, что сказка с медведями все-таки лучше.

Мы условились, что сразу же из редакции Фарид заскочит ко мне и расскажет, чем дело кончилось. Я же тем временем накрою небольшую ***«поляну»*** и буду держать за друга уже не большой палец, а оба кулачка. Я предварительно заморозил в холодильнике бутылку водки; ни я, ни Фарид не увлекались алкоголем, но по случаю того или иного знаменательного события не считали за грех пропустить стаканчик-другой. Под надлежащую закуску, разумеется.

…Фарид появился через два часа. Отворив дверь, я облился холодным потом: мой друг напоминал ***сомнамбулу***, он держался неестественно прямо, не поздоровался, прошел мимо меня в комнату, не снимая обуви и верхней одежды, и сел за стол. Я обессиленно опустился на стул рядом. Меня терзали страшные предчувствия. Фарид, продолжая находиться в сомнамбулическом состоянии, налил себе водки (откупоренная бутылка, стаканчики и немудреная закусь уже стояли на столе) и механически выпил. И вновь стал смотреть куда-то перед собой и одновременно внутрь себя. Было ясно, что он сейчас находится не здесь, а где-то там, вдалеке, и переживает что-то очень неприятное, какое-то моральное крушение, что ли. Я поспешно налил ему второй стаканчик и поднес наколотый на вилку соленый опенок. После второго стаканчика Фарид, слава Богу, вышел из каталепсии, как-то обмяк и шумно вздохнул. Здоровый румянец вернулся на его лицо, и он вновь стал обычным Фаридом.

– Как дела? – пролепетал я.

Фарид глянул на меня, подняв бровь (у него это всегда получалось артистически – поднять одну бровь), вздохнул и ответил исторической фразой, запомнившейся мне на всю жизнь:

– ***Я, конечно, был прав… но редактор оказался правее.***

– Опубликуют хоть? – сумрачно спросил я.

– Опубликуют, – с отвращением ответил Фарид.

– Тогда давай за успех, – сумрачно сказал я.

Фарид махнул рукой, и мы выпили за успех. Дальнейший вечер прошел, как обычно, – за разговорами, планами и тому подобное.

…Когда номер газеты с опубликованной первой частью «Биологических сказок» вышел в свет (с корявыми иллюстрациями, изображающими лесника-мешябейи и его внука), Фарид испытал (по его словам) то, что сейчас называется ***«когнитивным диссонансом»***. С одной стороны, первая публикация есть первая публикация, для многих она сродни рождению первенца. С другой стороны, если твою вещь при первой публикации исказили до неузнаваемости, а ты не смог этому воспрепятствовать, – никуда не деться от горечи. Так что Фарид и гордился своим дебютом, и одновременно с этим немножечко стыдился его. Слава Богу, через несколько лет на «Биологические сказки» обратили внимание в Москве, и они стали выходить частями в брошюрах общества «Знание» – в первоначальном варианте, с говорящими медведями. Справедливость в конечном итоге восторжествовала. Но долго еще потом, стоило мне случайно произнести при Фариде слово «мешябейи» – он тут же хватался за сердце и смотрел на меня укоризненно…

…Одновременно с Фаридом я сам писал цикл научно-познавательных статей для школьников – о редких и загадочных животных нашей планеты. И вначале хотел отнести их в ту же газету для пионеров. Но после случая с Фаридом передумал. Мне страшно было представить себе, в кого редактор предложил бы переделать кистеперую рыбу латимерию или гигантского комодосского варана…

Интересно, снятся ли редакторам говорящие медведи?..

В ДРУГОЙ ЖИЗНИ, НО В ЭТОЙ…

…Случалось и так, что мы с Фаридом творили в соавторстве.

Осень 1986 года выдалась памятной для советских людей. Это был не просто разгар перестройки, внушившей многим (особенно интеллектуалам) мысль, что вот именно сейчас-то мы сможем достичь чего-либо значительного своим собственным умом... Осенью 86-го мы с Фаридом только-только получили дипломы и были распределены: он – в Рукописный фонд нашей Академии наук, я – в Институт ботаники при той же АН. В общем, это было время крупных перемен и еще более крупных надежд. И у Фарида, и у меня в головах крутилось множество смелых творческих проектов. Один такой проект и сделал нас соавторами. Мы всерьез засели за фантастико-приключенческий роман под условным названием ***«Своими глазами»***. Сюжет его был незатейлив, но весьма, весьма занимателен. Судите сами: домой к главному герою, известному азербайджанскому историку и археологу, вдруг является незнакомец, молодой человек, и начинает говорить странные вещи. Ни много ни мало, гость уверяет, что построил машину времени и предлагает профессору отправиться вместе с ним в прошлое, в древний Азербайджан, во времена царя Атропата… Разумеется, профессор принимает гостя за сумасшедшего и намеревается выставить его из дома. Но молодой человек демонстрирует профессору уникальные старинные рукописи, а затем – странный аппарат с телеобъективом и клешней-манипулятором. По словам гостя, именно с помощью данного аппарата (зонда), запущенного в четвертый век до нашей эры, он и добыл эти рукописи – в одной из древних библиотек… Постепенно молодой человек убеждает ученого в своей правоте. Дальше – больше. Уже вдвоем они монтируют компактную машину времени в кузове автомобиля марки «Москвич» (помните, были такие легковушки, называемые в народе ***«Москвич»-«будка»***?) и с ее помощью переносятся на две тысячи лет назад, в древнюю Габалу! Нашим героям предстояло испытать множество приключений, как опасных, так и забавных, и вернуться в наше время с грузом разнообразных впечатлений и с богатым научным материалом…

Учтите, в то время мы и не подозревали о существовании фантастического фильма Роберта Земекиса ***«Назад, в будущее»***, вышедшего двумя годами ранее!

Будь роман дописан и опубликован, он стал бы первым фантастическим романом, герои которого отправляются в прошлое Азербайджана! За минувшие десятилетия наши авторы выпустили несколько фантастических книг на эту тему, но тогда, в конце 80-х, мы с Фаридом точно были бы первыми. Но роман закончен не был. Жаль…

Писать вместе было нелегко, поскольку каждый из нас хотел наравне с другим участвовать в создании общего ***«ребенка»***. Хотя Фарид, блестяще знавший историю, больше отвечал за историческую часть, а я – за литературную, желание участвовать ***«на равных»*** было присуще обоим соавторам… В конце концов, порешили так: каждый из нас напишет собственную версию романа, а потом мы намеревались создать своеобразный ***«сплав»*** из двух текстов. Так работали, например, братья Стругацкие. Это напоминает смешивание двух сортов хорошего чая – в результате получается великолепный ***букет***, ведь каждый из сортов отдает чаю лучшие качества, какие у него есть.

Закончить столь увлекательный роман нам помешала жизнь. Вернее, жизненные обстоятельства. Со временем мы оба охладели к нашей затее, встречались все реже и реже. В конце концов, роман был законсервирован. Фарид с упоением включился в работу в Рукописном фонде, меня в моем институте нагрузили «черной» работой, потом я женился… В общем, «о быт» разбиваются не только семейные лодки, но и творческие. Но до этого были месяцы, густо насыщенные креативом, неугомонным желанием работать, стремлением как-то проявить себя, создать что-то эдакое, интересное, необычное… До сих пор стоят перед глазами картины нашей совместной работы. Или дома у Фарида, в Ичери-шехер (мы азартно спорим у раскрытого окна, а с моря дует свежий бриз, вздымая занавески, в стаканах-армудах стынет крепкий чай, на столе между толстенными справочниками притулилась оранжевая пишущая машинка марки ***«Оптима»*** с заправленным в нее листом бумаги), либо у меня дома, неподалеку от больницы Семашко (мы азартно спорим у раскрытого окна, в которое лезут ветви здоровенного тутовника, на плитке подпрыгивает, исходя паром, чайник, везде разбросаны исчерканные блокноты, эскизы и наброски старинного оружия и людей в старинных одеяниях, на столе стоит кремового цвета машинка ***«Любава»*** с заправленным в нее листом бумаги, и в комнате пахнет болгарским трубочным табаком, поскольку мы с Фаридом в то время увлекались курением трубок)… Что ни говори, это была хорошая школа. Кстати, Фарид дальше продолжил работать «сольно». Писал биологические сказки для детей, научно-популярные книги для взрослых. Сейчас он очень известный ученый и уважаемый человек.

Несколько лет назад я напомнил Фариду о тех днях и даже показал ему черновики и рисунки нашего совместного романа, хранящиеся в моем домашнем архиве. Он долго молчал, затем произнес:

– ***Все это как будто в другой жизни было…***

Я слабо усмехнулся и ответил:

– ***В другой, но в этой***…

ВЕЛИКИЙ ИСКАНДЕР МУСАТОВ

Еще один пример нашей совместной с Фаридом работы – и тоже, увы, так и не завершенной – это создание очень интересного литературного персонажа, которого мой друг назвал ***Искандером Мусатовым***. До сих пор не знаю, почему именно такие имя и фамилия…

Если быть точным, придумал этого хлопца Фарид, я же подключился позднее. Искандер Мусатов у нас вышел отчаянным авантюристом, профессиональным путешественником, фотографом, кинооператором, писателем и журналистом, альпинистом, охотником и рыболовом. Куда только ни забрасывали Искандера Мусатова авторы!!! В ледяную Гренландию и бразильскую сельву; в уссурийскую тайгу и в пустыню Гоби; на самые высокие горы и в самые глубокие океанские впадины; его даже разок запульнули в Космос на «Шаттле»… Неутомимый исследователь занимался поисками загадочных животных, искал следы исчезнувших цивилизаций, выкапывал клады, сражался с бандитами и браконьерами самых разных цветов кожи и, несмотря на габариты, легко уходил как от бандитов, так и от полиции самых разных стран… Был добродушен, но непреклонен. Уперт до невозможности. Любое географическое общество или общество естествоиспытателей на Земле знало: стоит послать на дело Искандера Мусатова – и он в лепешку расшибется, но добудет живьем «крылатого человека» с гор Сихотэ-Алиня, привезет кирпич из дворца царя Атлантиды (со дна одноименного океана) или оригинальные, неподдельные фото- и киноматериалы высадки негуманоидных космических пришельцев где-нибудь в пустыне Намиб… Мусатов часто бывал груб и властен, но мог быть весел и нежен…

Особые приметы: на левом плече вытатуирован крылатый морской пес ***Сэнмурв*** из древнеиранской мифологии, олицетворяющий господство над тремя стихиями: землей, водой и воздухом; на правом плече – изображение ***Симурга***, волшебной птицы с женской головой, Царя всех птиц и благого покровителя как отдельных людей, так и целых коллективов... Шею Искандера Мусатова украшает странное ожерелье: на прочный шнурок нанизаны тигриный коготь, мощный человеческий зуб, египетский крестик, кусочек янтаря с первобытной мошкой внутри, кусочек самого настоящего железного метеорита, старинная серебряная монета и пуля, когда-то вошедшая в тело известного путешественника, а потом извлеченная из него…

В общем-то это был собирательный образ. Фарид не скрывал, что Искандер Мусатов соткан из двоих-троих его близких друзей; но он не скрывал также, что на 95 процентов отважного авантюриста он списал все-таки с меня.

Мы с Фаридом в те времена были отчаянно молоды, чудовищно энергичны и по-хорошему бесшабашны…

Мы ждали от жизни только хорошего…

…Пару лет назад меня сфоткали зимой на Шахдаге, я посмотрел на себя и встрепенулся: вот он, Искандер Мусатов, в натуральную величину! Только что из одной экспедиции – и тут же на пути в другую, не успевший сбрить щетину, защитивший глаза от яркого солнца темными очками, уставший, но упрямый, облаченный в кожаную куртку, с фотокамерой на груди… а где-то неподалеку должны быть и гигантский рюкзак, и ружьецо! Вот он, человек, которому Всевышний назначил быть неугомонным странником, раскрывателем тайн и искателем истины, человек, вобравший в себя черты Арсеньева, Фоссетта, Кусто, Ивана Ефремова, Тура Хейердала, Джеральда Даррелла, Индианы Джонса, профессора Челленджера и барона Мюнхгаузена!

Спасибо Фариду за то, что он придумал такой образ. Спасибо ему за то, что в основу образа положен я (это высокая честь!). Спасибо за то, что образ этот долгоживуч и даже, наверное, бессмертен, – ибо, пока существуют земля, вода, воздух и огонь, пока есть планета Земля и Космос, микромир и макромир, – всегда будут Искандеры Мусатовы. Пусть далеко не всегда в образе обросшего детины с рюкзаком и фотокамерой, – но будут. Иначе для чего они, Земля и Космос, а также микромир с макромиром?..

ДОБРЫЙ ДРУГ, МИЛЫЙ ДОМ...

Я уже упоминал про дом в Ичери-шехер (во Внутреннем городе или, как его называют еще, Крепости), в котором вырос и возмужал Фарид, старинный, удивительный дом, очертаниями напоминающий корабль… Я уже писал о том, что друзья и однокашники Фарида всегда были желанными гостями у него дома, и мы проводили там время с огромной пользой, и все было очень и очень интересно… Конечно же, рассказал я далеко не все, память сохранила массу забавных и просто запоминающихся эпизодов; попробую-ка я поделиться с вами некоторыми из них.

НОВРУЗ ...Родители Фарида, известные азербайджанские ученые, принимали гостей всегда радушно, и гостеприимство их было искренним. Вот и весной 1984-го они пригласили сокурсников сына в гости и устроили настоящий Новруз-байрам, доставшийся нам в наследство от предков-язычников праздник наступления весны по астрономическому солнечному календарю…

В те времена празднование Новруза не то чтобы категорически запрещалось, но и не приветствовалось, поэтому такие посиделки были связаны с определенным риском. Однако родители Фарида были смелыми людьми. Они все устроили, как полагается. Мы, юноши и девушки, студенты-третьекурсники, сидели за длинным столом, украшенным хончой, свечами, крашеными яйцами, сямяни (тарелочками с проросшей пщеницей), ели праздничный плов, пили вкусный чай со сладостями (шекербурой, пахлавой, халвой, кульчой и прочими), оживленно беседовали на самые разные темы (вы не представляете, сколь разнообразна была тематика наших разговоров!), строили смелые планы… Одним словом, настроение было самое что ни на есть праздничное. А потом кто-то из нас вставил в магнитофон кассету с концертной записью выступления Геннадия Хазанова. В течение двух часов все мы буквально катались по полу, суча ножками. Я сейчас не помню всех тех монологов, что прозвучали с кассеты, но помню, что все они были отменные. Особенно тот – о советских туристах в Италии, которые случайно забрели в стриптиз-бар и, чтобы сохранить «облико морале», уселись к стриптизерше спиной… В общем, праздничные посиделки прошли очень хорошо, и часов в пять вечера мы разошлись, искренне поблагодарив родителей Фарида за гостеприимство и за праздник. А на улице нас ожидал порывистый, леденящий ветер с мокрым снегом! Мы с однокашником Ягубом выскочили через Гоша-гала-гапысы (Двойные ворота Старой Крепости) и в темпе помчались к станции метро «Баксовет» (ныне переименованной в «Ичери Шехер»). Спасаясь от холода, мы запахнули куртки и накинули и затянули капюшоны. Настроение у нас было все еще приподнятое, мы весело переговаривались на ходу, и я, поглядывая на Ягуба (у него наружу торчали лишь прищуренные глаза и мощный, посиневший от холода нос), подумал, что мой друг – да и я тоже – напоминаем сейчас каких-нибудь полярников, пробивающихся сквозь пургу... и это – 21 марта!!!

КОЛБА МИЛЛЕРА-ЮРИ ...Как-то раз (году, кажется, в 1982-м) мы с Фаридом возились у него дома в небольшом подобии чулана, где хранились всякие вещи, давно не используемые. Помнится, мы искали что-то для одной из наших многочисленных затей и обнаружили большой аквариум шаровидной формы. Когда-то в нем была вода, зеленели водоросли, резвились рыбки, но потом рыбок не стало, и аквариум отправили в чулан, не опорожнив. За долгие годы забвения вода улетучилась, водоросли разложились, и теперь на донышке стеклянного шара темнел слой бурой спекшейся массы. «Фи, – сказал я, сморщив нос. – Помыть или вообще выкинуть». «Погоди, – сказал вдруг Фарид и отобрал у меня аквариум. – Погоди, не надо». «Что – не надо?» – не понял я. «Не надо ни выбрасывать, ни мыть. Оставь как есть». «Почему?» – удивился я. «А вдруг в этом шаре зарождается жизнь? Как в колбе Мил-

лера-Юри» (он имел в виду известный эксперимент 1953 года, когда два американских ученых воссоздали в запаянной колбе атмосферу первобытной Земли из аммиака, метана, водорода и водяных паров и пропускали через эту газовую смесь электрические искры, имитации молний; в результате эксперимента в колбе образовались аминокислоты – основные строительные элементы, из которых состоит белок). Я взглянул на Фарида. Внешне он был вполне серьезен, но глаза его смеялись…

КОЗЕТТА …Как-то раз, уже летом 1984-го, на каникулах, я должен был забежать к Фариду по одному делу. Я заранее позвонил по телефону-автомату и предупредил, что буду к такому-то часу. В назначенное время подошел к описываемому дому; к Фариду надо было подниматься по крутой каменной лестнице с узорчатыми перилами. Миновав предпоследний лестничный пролет, я увидел Фарида, уже распахнувшего дверь и поджидающего меня… и вдруг соседняя дверь, где жила другая семья, открылась, и из нее вышла тоненькая девчушка лет семнадцати-восемнадцати, в линялых джинсах, клетчатой ковбойке, с волосами, собранными в два трогательных «хвостика». В своих тоненьких руках девчушка держала два ведра, доверху наполненных камнями и всяким строительным мусором. Видимо, в квартире шел ремонт. С натугой таща ведра, девчушка начала спускаться мне навстречу. Мне показалось, что я так и слышу, как звенят ее натянутые сухожилия… Как я мог поступить, двадцатипятилетний здоровый парень, бакинец, прирожденный джентльмен? Я махнул рукой Фариду (подожди, мол, немного, я сейчас) и учтиво предложил девушке свою помощь. Она милостиво согласилась. Я принял у нее оба ведра и чуть не завыл – тяжеленные!!! Но построил на лице непринужденную улыбку, и мы пошли вниз. Мы пересекли дворик, дошли до свалки, и я опорожнил оба ведра; все это время мы мило болтали с девушкой о всяких пустяках. Все это время я мысленно жалел бедняжку: вот, мол, несчастная сиротка, некому ей помочь, все должна делать сама, надрывая свои слабенькие силы… Потом мы поднялись по лестнице, дошли до последнего этажа (Фарид все еще стоял в дверях, прислонившись плечом к косяку и как-то неопределенно улыбался), я вручил девчушке оба пустых ведра, она горячо меня поблагодарила, я дружески с ней попрощался и машинально бросил взгляд в глубь ее квартиры через приоткрытую дверь.

Там, за низеньким столиком, сидели два плечистых амбала среднего возраста и неторопливо, со вкусом, пили чай.

Я раскрыл было рот, готовясь выразить возмущение, но Фарид деликатно и в то же время решительно втянул меня к себе, захлопнул дверь и, фыркнув, сказал:

– Ну, ты и… Жан Вальжан!

(Напомню: Жан Вальжан – главный герой романа Гюго «Отверженные»; как-то раз глубоким вечером, идя через лес, он увидел плачущую от страха девочку, с трудом тащившую тяжелый кувшин с водой – так велела ей бессердечная и злая мачеха… Жан Вальжан, бывший каторжанин, наработавший нехилую мускулатуру, отобрал у девочки кувшин и без труда понес его, проводив девочку до дому. Девочку звали Козетта).

«КРОКОДИЛЫ, КРОКОДИЛЫ!» …Раскаленным летом 1985-го Азербайджан посетили чешские зоологи. Занимаясь какими-то своими делами, они попутно обратились к нам с просьбой: поймать им несколько кавказских агам. Мы с Фаридом, а также наши друзья Саша Леонтьев и Вахид Гасан-заде (они тоже учились на биофаке нашего универа, только, соответственно, на курс и два курса младше) с энтузиазмом согласились помочь чешским товарищам. Кавказских агам, крупных серых ящериц, мы решили ловить на Бакинских Ушах – есть такое местечко невдалеке от Баку, получившее название свое из-за двух торчащих друг подле друга островерхих скал. Полупустыня.

Сказано – сделано.

Кавказские агамы – ящерицы крупные, но очень юркие и, кроме того, чуткие и осторожные. К ним можно приблизиться, но одно неосторожное движение – и фьюить, поминай как звали. Поэтому ловили мы их с помощью рыболовных удочек, на конце которых вместо крючка были скользящие петли из лески. Это орудие позволяло издали завести петлю – только медленно-медленно! – за шею греющейся на камне ящерицы, а затем резким рывком «подсечь» ее. Таким манером мы заарканили за день шесть агам и поместили их в две трехлитровые стеклянные банки, затянув их горловины марлей (для доступа воздуха). Добычу мы решили принести домой к Фариду, поскольку он ближе всех жил к площади Азнефть, откуда мы отъезжали частенько в свои походы. Ну, принесли. Пошли в ванную смывать трудовой пот и счищать с себя пыль. А тут, как на грех, у Фарида гостил с родителями его четырехлетний племянник. Мальца неосторожно оставили в комнате с двумя принесенными банками. Как впоследствии показало следствие, при виде плененных кавказских агам племянник пришел в дикий восторг, закричал: «Крокодилы, крокодилы!», развязал обе горловины и выпустил их на свободу – поиграть. Ящерицы мгновенно разбежались кто куда, и весь остаток вечера и последующую ночь мы с Фаридом искали их по всей квартире, извлекая из самых неожиданных мест… Но чешские товарищи получили своих агам в срок и в полном составе и увезли их в Прагу.

ГОНОРАР ЗА УБИЙСТВО …А вот это было уже летом 1986-го, в тот самый чудесный промежуток времени, когда мы с Фаридом уже окончили университет, получили дипломы, но пока еще не приступили к работе; этот период мы решили использовать на полную катушку – «медовый месяц» выпускника, после которого нас всех ожидала совсем другая жизнь, новая, полная «взрослых» забот…

Именно тогда Фарид приобрел кинокамеру «Кварц» и решил опробовать ее в деле. Мы решили подойти к делу творчески, снимать не что попало, бессистемно, а сварганить небольшой фильм. С выбором темы мы долго не раздумывали: в те дни на телеэкраны Советского Союза вышел легендарный итальянский сериал «Спрут», о борьбе бесстрашного комиссара Каттани с мафией. Потому снимать мы решили криминальную драму, в духе немого черно-белого кино с последующей озвучкой того типа, когда «фильму» подыгрывал на пианино тапер. Снимать решили у Фарида дома. В кинопроизводство был вовлечен и младший брат Фарида, Рамиз, веселый студент-медик. Сценарий писали мы втроем, режиссерами и операторами выступали попеременно, актерами тоже были мы сами.

Сюжет был незатейлив: бизнес и рэкет.

Вначале в кадре появлялся Рамиз – молодой бизнесмен в костюме-тройке и галстуке-«бабочкой», в модных очках, который, празднуя, видимо, удачную сделку, исполнял ритуальный танец и обсыпал себя деньгами (для этой сцены мы собрали в кучу всю имевшуюся у нас наличность). Танцевал он под оптимистичную мелодию группы «Ля Бьонда». И тут…

…выражение торжества на лице бизнесмена сменяется выражением ужаса. Ибо в следующем кадре появляется гангстер-Фарид, в узком сером пальто, в клетчатой кепке и черных очках. Фарид сумел придать себе вид столь зловещий, что я вздрагиваю до сих пор, вспоминая тот кадр. Звучит тема из фильма «Крестный отец» – в жестком, «стальном» варианте. Следует беззвучный диалог, в ходе которого становится ясно, что гангстер требует у бизнесмена денег, тот сопротивляется, но недолго, и, в конце концов, покорно ссыпает все деньги в подставленную Фаридом клетчатую кепку…

…тут кепка упала на пол. Недолго подумав, следующий кадр мы придумали такой: кепка, полная денег, лежит на полу; в кадр въезжает босая почему-то нога Фарида и подтягивает кепку к себе…

…и тут оба, и рэкетир, и жертва, вздрагивают: появляется новое действующее лицо – ваш покорный слуга.

Чтобы создать некий контраст, я придал себе вид одесского налетчика, а точнее, выглядел, как Шура Балаганов в исполнении Леонида Куравлева: тенниска, белая кепка, сдвинутая набекрень, торчащий из-под нее чуб и широкая улыбка с «фиксой» (роль золотого зуба исполнял мой обычный зуб, обмотанный золотистой фольгой от шоколадной конфеты). И руки в карманах. Музыка при моем появлении должна была зазвучать – «На Дерибасовской открылася пивная».

Развязка «фильмы» была такой: между гангстером и налетчиком начинается долгая и потешная борьба за кепку с деньгами, и сопровождать ее должен был «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Тем временем бизнесмен, придя в себя, некоторое время с усмешкой наблюдает за конфликтом и борьбой двух бандитов, потом преспокойненько забирает у них из-под ног кепку с баблом, неспешно надевает шляпу, берет трость и с достоинством удаляется, под бетховенскую оду «К радости». А бандиты все продолжают бороться, не замечая, что яблока раздора уже нет…

Сюжет, как видите, и впрямь незатейлив… но ведь это была тренировка для съемок последующих, более серьезных фильмов любительской кинокамерой, у нас были грандиозные планы, связанные с путешествиями, телепроектами…

Потом следовал томительный процесс проявки пленки в черном бачке, монтаж, озвучка…

Фарид прекрасно рисовал. И взялся сделать постер (плакат) к фильму. Постер был просто изумительный. Трехэтажный дом (тот самый, в котором жил Фарид), пара деревьев, клонящихся от ветра, и зловещая перекошенная фигура злодея в пальто с поднятым воротником и надвинутой на глаза кепке. Название фильму придумал Фарид и почему-то – «Гонорар за убийство». Хотя никаким убийством в фильме и не пахло (нет, может, потом, за кадром, гопник укокошил-таки гангстерюгу, или наоборот, но это, во-первых, вилами на воде писано, а во-вторых, причем тут гонорар?). На замечания Фарид отмахнулся: название должно быть жестким и заинтриговать зрителя, а причем тут убийство и какой подразумевается гонорар – после объяснят кинокритики…

Потом – потом была жизнь. Жизнь… Мы начали работать, а потом взбурлила госпожа История, и многие из наших забав были забыты и заброшены.

Интересно, сохранился ли тот фильм? Сохранился ли тот самодельный плакат?

Не знаю. Может, да, а скорее всего, нет. Ветшает бумага; тлеет кинопленка.

Остается лишь память.

Память о друзьях. О событиях. О временах…

Я помню все, Фарид. Я помню тот милый дом, в котором жил ты, Добрый Друг. Боже, как нам было весело! Весело и интересно!

Светлая тебе память, Друг мой. Светлая тебе память…

Аллах ряхмят елясин!

Баку, декабрь 2021г.

МЕЙХОШ АБДУЛЛАХ

Р А С С К А З Ы

Сон командира...

Только-только забрезжил утренний рассвет, как бойцам был отдан приказ спуститься с позиции. Солдаты цепочкой, потихоньку стали двигаться вниз по пологому склону горы в направлении, откуда поднимались накануне.

Порой до них доносились звуки стрельбы, но по сравнению со вчерашним днем нынешняя ситуация казалась относительно спокойной. Однако взрыв снарядов, то и дело доносившихся издалека, говорил о том, что затишье это временное и обманчивое. Опытный командир знал, что враг, потерявший вчера свои позиции, вновь собирается с силами, чтобы атаковать их, и поэтому торопил бойцов. Нужно было отойти подальше от этой локации.

… Это были спецназовцы. За день до этого они получили секретный приказ – с наступлением сумерек подняться на высоту под названием «Ала гая» и обезвредить вражеское подразделение, которое несколькими днями ранее дислоцировалось на вершине и препятствовало продвижению наших солдат.

Вчера вечером перед боем их было восемь человек. Командир и семеро отважных бойцов. А сейчас это были уставшие изможденные солдаты, которые, едва волоча ноги, медленно спускались с горы. Они достойно выполнили задачу. Восемь бойцов, как львы, сражались с более чем пятьюдесятью вражескими солдатами и смогли полностью очистить порученную им территории от врага.

Командир был прав в своих расчетах. Не успели они спуститься с горы, как высота «Ала гая» подверглась мощнейшему артиллерийскому и залповому обстрелу. Снаряды со смертоносным свистом врезались в проёмы близлежащих скал, поднимая в воздух столбы пыли и камня. Около часа враг обстреливал эту позицию.

Обернувшись назад, командир усмехнулся и выругался: «Сволочи!... Мы не такие беспомощные, как вы думаете».

Он посмотрел на своих отважных бойцов. Не хватало одного – Абиева Васифа. Двое были ранены, один – в плечо, а другой – в живот. Но, несмотря на тяжелые ранения, они, стиснув зубы и опираясь на боевых товарищей, двигались вперед.

О судьбе пропавшего солдата Абиева Васифа пока что не было ничего известно. Ночью боевые товарищи везде искали его, но не нашли ни мертвым, ни живым. Мысль о Васифе не давала командиру покоя. «Нет, он не мог попасть в плен, – думал командир, – спецназовцы хорошо знают, как поступить в таком случае. Но тогда где же он? Куда мог запропаститься?! Ведь ночью, несмотря на темноту, он самолично осмотрел трупы, оставшиеся на поле боя. И среди них точно не было Абиева».

Шел сильный дождь. Скорее, это был даже не дождь, а мокрый снег, потому что крупные капли, падая с неба, прозрачными льдышками застывали на почерневших лицах бойцов.

Прошло несколько дней. Командир от волнения не находил себе места. Мысль о судьбе пропавшего солдата неотступно преследовала его. Боевые друзья Васифа переживали не меньше командира, которого мучило чувство вины.

Как-то ночью ему приснился Васиф. Во сне он увидел, как тот, укрывшись в расщелине между скалами, немного поодаль от их взвода, сражается с врагом. Вражеская пуля попадает ему в шею. Но, несмотря на тяжелое ранение, он продолжает

бой. Ему удается уложить трех вражеских солдат, попытавшихся приблизиться к нему. Тут его берет на прицел армянский снайпер, расположившийся неподалеку… Покачнувшись, Васиф падает на землю… Несколько раз безуспешно пытается встать... Он чувствует, что теряет сознание. Не в силах подняться, Васиф лежит на мокрой от дождя земле. Холод сырой земли ещё больше остужает его продрогшее тело. Едва шевеля губами, Васиф несколько раз зовёт товарищей на помощь. Но его слабый голос теряется в свисте пуль – друзья по оружию не слышат его…

Собрав последние силы, Васиф судорожно вытаскивает из-за пазухи трехцветный флаг, покрывшийся алыми пятнами крови. Укрывшись им, дрожа от холода, шепчет: «Командир, я замерзаю, приди, забери меня отсюда!»…

Словно наяву услышав голос Васифа, командир проснулся в холодном поту. Поспешно одевшись, начал взбираться на «Ала гая». Он чувствовал, что должен вернуться на то самое место, где прошел последний бой, осмотреть те скалы, которые видел во сне… Дойдя до них, он остановился – в расщелине лежало тело солдата, укрывшегося окровавленным трехцветным флагом. Это был Васиф. Его глаза были широко раскрыты и смотрели вперед, словно ожидая своего командира…

Командир опустился на колени перед солдатом, павшим смертью храбрых. Не в силах сдерживать слёз, обнял холодное тело, тихо шепча: «Ты не будешь больше мёрзнуть, солдат. Родная земля согреет тебя!»

Перевод Лейлы КАДЫРЗАДЕ

Признание учителя истории

Обессиленная седовласая учительница, тяжело шагая, шла к кладбищу, расположенному на окраине села. Вот уже несколько дней, как немного ослабли страшные боли, охватывающие все ее тело. Иначе она не смогда бы преодолеть этот путь пешком. Но сегодня она точно решила, что пойдет на сельское кладбище и посетит могилу своего бывшего ученика, шехида Ибрагима Лалаева, ставшего теперь всеобщим любимцем,.

У учительницы было что сказать своему ученику. Вот уже несколько дней, как она думала об этом. Уж очень ее терзали накопившиеся в сердце слова…

Подойдя к воротам кладбища, она остановилась и отдышалась. Сильные боли в ногах ее очень мучили, но она все же терпела. Последней ее надеждой, казалось, была клюка, которую она держала в руке. Она крепко опиралась на нее, словно доверяя ей всю тяжесть своего тела.

Учительница вошла на территорию кладбища и направилась к могиле, обрамленной черным мрамором, расположенной на левой стороне. Она вся тряслась от волнения, будто была сильно простужена.

Дойдя до могилы, она остановилась. Медленно подняла голову и устремилась своими помутневшими от старости глазами на фотографию, установленную на мраморе. Смеющиеся глаза на фотографии молодого человека в военной форме тут же встретились с глазами учительницы.

– Да…это ты, сынок? Ибрагим? – обрадовалась учительница, узнав на фотографии своего ученика, которого не видела вот уже многие годы.

Ибрагим был ее учеником, которому она преподавала историю много лет назад. Несмотря на то, что годы смогли изменить его рост и черты лица, глаза у него были те же. Они были такие же добрые и чистые, как в детстве.

Блеск мрамора еще больше освещал лицо воина. Похожие на световой обстрел лучи, исходящие оттуда, ослепляли ее глаза. Учительница глубоко вздохнула и прошептала еле слышным голосом:

– Здравствуй, сынок…Поздравляю тебя с достижением имени шехида!

Затем она дрожащими руками погладила фотографию, установленную на черном мраморе. Холод камня словно проник в ее больное тело, и по всему ее телу прошла холодная дрожь.

Когда учительница вновь подняла глаза и посмотрела на фотографию, глаза ее снова встретились со смеющимися глазами ученика с фотографии на черном мраморе. Эти глаза ни на миг не хотели отводить взгляд от учительницы. Куда бы ни повернулась учительница, эти глаза снова искали ее.

– Сынок, ты знаешь, почему я пришла? – произнесла учительница дрожащим голосом. – Я только недавно узнала о том, что ты стал шехидом. Тогда я сильно болела и не было сил подняться с постели. Когда мне стало чуть легче, я хотела пойти и выразить соболезнование твоим родителям. Но почему-то потом передумала. Решила, что сначала я посещу тебя, а потом и к ним пойду. Ведь у меня есть, что тебе сказать. Когда я болела, я просила Аллаха, чтобы он дал мне возможность сказать тебе то, что у меня на душе. Дорогой сынок, помнится, когда я вам преподавала историю, ты не очень хорошо изучал мой предмет. Ты даже иногда пошаливал на уроках. Не так ли? – сказала учительница, устремив взгляд своих влажных от слез глаз, прямо в глаза фотографии на черном мраморе.

Фотография на черном мраморе все еще улыбалась, словно подтверждая слова седовласой учительницы.

«Да, так и было», – словно хотела сказать она.

– Я тогда нервничала. Я ругала тебя и всех слабых учеников, – продолжала учительница тихо. – А отличников хвалила и приводила вам в пример. Смотрите на них и старайтесь быть похожими на них! – говорила я. – А еще я говорила, что те, кто хорошо учатся, они умные и в дальнейшем, они достойно будут служить своей Родине. Они сделают много полезного для Родины и для народа. Слава о них разнесется по всему Миру. И мы будем ими гордиться, – говорила я, восхваляя отличников. – А вы лентяи. Что будет с вами? – ругала я вас.

– Помнишь все это сынок? – сказала учительница, глубоко вздохнув. – Но ты пойми меня, сынок. Я, как учительница, как мать, была очень обеспокоена вашими судьбами. Я думала о вас. Я думала, что будет с этими детьми? Как они проживут жизнь? Я смотрела на вашу одежду, непричесанные взлохмаченные волосы, на ваше поведение и очень переживала. Я думала, как и что вы – наше будущее, наша молодежь – сможете сделать для нас, для Родины? Эти мысли меня очень беспокоили. Я, как учительница, как интеллигент и человек, любящий свою Родину, днем и ночью думала об этом и очень беспокоилась. Но как же я ошибалась, сынок?! Оказывается, быть образованным и интеллигентным еще не означает уметь постоять за честь и достоинство Родины. Правда, те отличники, кого я так восторженно хвалила, все поступили в вузы и стали студентами. Выучились и даже получили хорошие должности. Среди них есть и мои преемники. Но я думаю, а что изменилось в жизни? Смогли ли они изменить течение жизни? Ни один из них не стал таким знаменитым, как ты. Может быть, их и узнают в какой-то деревне, но не больше того. А ты своим патриотизмом и храбростью стал выше их всех. Ты, став шехидом, научил любить Родину, быть привязанным к своей земле не только своих друзей, но и меня – эту свою седовласую учительницу.

Я окончила школу, получив золотую медаль. Затем окончила университет, получив красный диплом. Я сорок лет проработала учителем истории. Оказывается, быть образованным, выучить историю всего мира, перечислять историю всех стран, знать про ледниковый, каменный и железный периоды и еще Бог знает что и внедрять все это в сознание учеников – это не значит обьяснять историю. Это было всего лишь обьяснение и обучение учеников всему тому, что написано в учебниках. Не надо было зубрить историю. Историю надо было суметь написать самому. Как это сделал ты, сынок.

Прости меня, сынок! Если б ты знал, как я разочарована! Я многому у тебя научилась сегодня. Ты мне преподал урок истории, сынок. Этот урок истории я не забуду никогда.

Если можно было бы прожить жизнь снова! Вот тогда я преподавала бы своим ученикам ту историю, которую ты мне преподал.

Учительница закончила говорить, и, кажется, ей стало легче. Затем она вытащила кусочек мела, завернутого в платок, и прямо на черном мраморе написала своему ученику оценку «5», которую никогда не ставила ему во время учебы, и, протирая прослезившиеся глаза испачканным мелом платком, медленно удалилась.

А улыбающиеся из холодного мрамора глаза провожали взглядом седовласую учительницу…

Перевод Теране МАММЕД

Тысячный…

От резкого удара по затылку прикладом автомата я не устоял на ногах и упал лицом вниз. Мозг яркой вспышкой пронзила мысль – вот она, моя смерть, всего в шаге от меня. Наверное, я бы подумал ещё о чем-нибудь, но обрушившиеся вслед за этим удары ногой по животу стёрли все мысли, уступив место пронзительной боли, от которой перехватывало дыхание.

Лёжа на земле, я закрывал лицо руками, чтобы защитить хотя бы глаза. Осознание того, что нахожусь в плену, липким страхом разлилось по всему телу. В ожидании выстрела, который был неминуем, я украдкой посмотрел по сторонам и увидел прямо перед самым носом пару солдатских ботинок, чернеющих на белом снегу. С усилием приподняв голову, постарался разглядеть лицо человека, продолжающего методично наносить удары. При свете снега увидел смутные очертания солдата с автоматом в руках и окончательно убедился, что конец близок.

«Двум смертям не бывать, а одной не миновать, – подумал я, вспомнив пословицу. – Меня всё равно расстреляют, так какой смысл дрожать от страха?»

Солдат что-то скомандовал на армянском языке, а потом, увидев, что я продолжаю лежать на земле, повторил по-русски: «Поднимайся!»

Опираясь на локоть, я с трудом встал. За исключением тупой боли в затылке, ощутимых увечий не было, даже боль от пинков понемногу утихала.

Лунный свет выхватил из темноты искаженное злобой лицо стоящего передо мной врага. Я выпрямился во весь рост, и он из предосторожности отступил на пару шагов назад, направив мне в лицо дуло автомата, и скомандовал: «Руки на затылок!»

Я скрестил руки на затылке. Солдат был один, и кругом никого не было слышно. «Как я попал в плен? – пытался я вспомнить. – Наверное, этот армянин – разведчик. Они днём прячутся в засаде, беззвучные, как пауки, терпеливо поджидающие свою жертву». На самом деле меня тоже отправили в разведку. Но, видимо, я не проявил должной бдительности – вот и попался.

«Что же делать? – напряженно думал я. – Если этот парень один, я так просто не дамся. Ведь по сравнению со мной он – хлипкий юнец, и мне не составит труда разделаться с ним. За три года на фронте я многое повидал, не раз смотрел смерти в лицо, но, видать, в рубашке родился».

Краем глаза я смотрел по сторонам, оценивая обстановку. Было тихо. Я подумал: «Если этот парень ведёт меня на расстрел, наверняка, он уже взвёл курок и вот-вот изрешетит меня пулями. Но, возможно, он решил взять меня в плен и ведёт к своим. В таком случае я покажу ему, где раки зимуют».

Минуты шли, а я никак не мог принять решение. Мой автомат уже висел на плече у армянского солдата, а другого оружия у меня не было.

«Ладно, я и голыми руками его возьму», – подбодрил я себя.

Заметив мои вороватые взгляды, враг насторожился. Решив, что я собираюсь то ли сбежать, то ли напасть на него, он поднял ствол автомата вверх. Тут же оглушительные выстрелы прорезали тишину леса. Автоматная очередь словно острым ножом скосила ветки нависших зонтом над нашими головами деревьев, и они посыпались на снег. Я понял, что «друг», очевидно, боится меня, и это – предупреждение.

Не прошло и двух минут, как где-то вблизи раздались ответные выстрелы, зловещим эхом прокатившиеся по лесу. Я понял, что солдат здесь не один. Надежды на спасение мигом улетучились. Вслед за выстрелами прозвучали голоса – по всей вероятности, враги поднимались вверх по ущелью, расположенному неподалёку. Только теперь я понял, что придавало смелости щуплому мерзавцу, повалившему меня на землю ударом приклада.

Их было четверо. Они окружили меня. Один из них, долговязый детина, встал прямо перед моим носом. Ни о каком геройстве в таких обстоятельствах не могло быть и речи. Оставалось только одно: смириться и ждать неминуемой смерти. Однако они не торопились прикончить меня. У них были другие планы…

Стоявший передо мной армянин матерно выругался и ударил меня локтем по лицу. Удар был такой силы, что я еле удержался на ногах. Струйка теплой крови потекла из носа вниз по подбородку, каплями стекая на снег и оставляя на нём алые пятна. Солдаты стянули с меня куртку, а затем потребовали снять ботинки. Стоя босыми ногами на снегу, без теплой одежды и шапки, я понял, что впереди меня ждут ещё более страшные испытания.

Мы добрались до небольшой деревеньки, где меня затолкали в хлев, и тут я в полной мере осознал, что такое ад. От мороза мои ноги разбухли, как шары, – казалось, дотронься до них острым предметом, и кровь брызнет фонтаном. Всё тело было обморожено.

В хлеву мне связали руки сзади. Здесь были две коровы и маленький телёнок. Когда дверь закрыли на засов, я порадовался, что ночь мне придётся провести в компании этих «четвероногих друзей». Наверняка, найти общий язык с ними будет намного легче, чем с нелюдями, захватившими меня в плен.

Влажный спёртый воздух теплом разлился по всему телу. Отмороженные ноги заныли, оттаивая от мороза. Мне казалось, что мясо на них клещами отрывают от костей. Я стоял, прислонившись к дощатой стене – иначе упал бы, разбив лицо в кровь. Но долго так стоять было невозможно, от слабости прерывалось дыхание. Я осторожно сполз на колени и с облегчением вытянулся в углу.

Я лежал, уткнувшись лицом во влажный грязный настил – резкий запах навоза щекотал ноздри и щипал глаза. Обмороженное тело постепенно оттаивало, и от этого ноги гудели ещё больше. Я засунул их под ещё теплый навоз, чтобы хоть немного облегчить боль. До утра корчился на полу в схватке со стоящей над изголовьем смертью. Так и не сомкнул глаз до самого рассвета. Время остановилось для меня, и я не понял, сколько было времени, когда открылась дверь. Один из вчерашних солдат, зайдя в хлев, первым делом принялся пинать меня ногами – видимо, хотел удостовериться, жив ли я ещё. Я лишь слегка приподнял голову. Убедившись, что жизнь ещё теплится во мне, он схватил меня за руку и рывком поставил на ноги. Затем, толкая в спину, вывел наружу. После темного хлева лучи солнца, искрящиеся на белом снегу, ослепили глаза. Некоторое время я ничего не видел. Если бы не удары в спину, подгоняющие меня вперёд, я подобно слепой курице кружился бы на одном месте, закрыв глаза ладонями.

Ночью ударил мороз, и погода была очень холодная. Воздух не могли согреть даже яркие лучи солнца.

Солдат, прикрикивая, гнал меня вперёд. Хрустящий настил снега на узкой тропинке ножом резал босые ступни. Я подпрыгивал на снегу, как на горящих углях.

Я огляделся по сторонам – это была маленькая деревушка. Дома стояли так далеко друг от друга, что напоминали чёрные семечки, рассыпанные на белой бумаге.

Мы подошли к небольшому зданию, на крышу которого был водружен вражеский флаг. Солдат зашёл в дом и тут же вышел. Схватив меня за локоть, затащил внутрь. В углу в печке мирно потрескивали дрова. Пьянящее тепло разлилось по всему телу.

Возле печи были сложены в кучки ещё сырые дрова. Немного поодаль, возле окна, за столом сидел офицер. Его форма отличалась от обычной. По тельняшке, безворотому кителю и сдвинутому набок берету я понял, что он из подразделения особого назначения. У нас таких называли «десантниками» или «людоедами»

Мне приказали сесть напротив офицера. Тот, опустив голову, крутил в руках какой-то предмет. Я предположил, что это пистолет, и вскоре убедился в правильности своей догадки. Немного погодя офицер поднял голову и с резким стуком положил пистолет на стол, пристально посмотрев мне прямо в глаза. Увидев его лицо, я даже вздрогнул – настолько неожиданно родным оно мне показалось… Так и есть! Карие глаза, густые чёрные брови на смуглом, немного грубоватом лице, широкий нос напомнили мне моего сына Керема. Даже маленькая мясистая родинка слева от носа была точь-в-точь, как у него! Мне часто приходилось встречать двойников своих знакомых, но я даже в мыслях не мог себе представить, что представители двух враждующих народов могут быть похожи друг на друга, как две капли воды.

Офицер принялся допрашивать меня, пытаясь выяснить, из какой я части, где расположены наши позиции, численность нашей живой силы и боевой техники. Конечно, не отвечать на вопросы было невозможно, но я умышленно преувеличил численность воинского состава и техники. На нашем посту стояли двадцать солдат, а я заверил офицера, что там сорок человек. Точно так же вдвое преувеличил количество вооружения.

Выслушав мои ответы, офицер усмехнулся и, неожиданно вскочив со стула, рукояткой пистолета наотмашь ударил меня по голове. Видимо, он располагал точными сведениями, и мой ответ взбесил его…

При выходе из штаба мне дали пару стоптанных, рваных солдатских сапог, которые хоть немного защитили меня от мороза.

Днём передо мной положили миску с двумя варёными картофелинами, кусок чёрствого хлеба и стакан холодной воды. Со вчерашнего дня у меня крошки во рту не было, поэтому я моментально всё проглотил. Еды было слишком мало, чтобы почувствовать насыщение – но что поделать, хвала Аллаху и за это скудное пропитание. Затем меня заставили колоть дрова до самого захода солнца. Ладони покрылись волдырями, я валился с ног от усталости. Вечером меня отвели в тот же хлев. От голода сосало под ложечкой. Но где мне было взять еду – не есть же заживо коров…

Сидя в углу среди мычащей скотины, я думал, что товарищи наверняка считают меня погибшим. Возможно, даже отправили похоронку семье. Бедные мои родные, жена, дети… Представляю, каково им… Я пытался отогнать от себя черные мысли, но одна не давала мне покоя. Перед глазами вновь и вновь вставало лицо штабного офицера. Оно было до боли знакомым и даже родным. Но где я мог его видеть?

Зарывшись в сено, я пытался заснуть, но от голода крутило желудок. Я готов был съесть, что угодно. Даже камень бы проглотил, чтобы только заглушить чувство голода.

Постепенно мне становилось всё хуже. Обезумев от голода, я стал ползать по полу, шаря руками в поисках навоза и готовый съесть даже его. В это время произошло маленькое чудо – маленький теленок, отвязавшись от верёвки, подбежал к корове и начал сосать её вымя.

Лунный свет из маленького окошка падал прямо на телёнка, освещая белую пенящуюся полоску молока вокруг его рта. Увидев это, я судорожно сглотнул. Кое-как дополз до коровы. Трясущимися руками схватил её за вымя и стал жадно сосать. Молоко было тёплым и вкусным. По счастью, корова – мирное животное. Она продолжала спокойно стоять на месте и лишь искоса с мычанием поглядывала на меня. И телёнок, и я вдоволь напились сладкого молока. Меня даже стало подташнивать от сырого молока, переполнившего желудок. Я отполз в угол хлева и, прислонившись к стене, погрузился в сытую дрёму.

Через несколько часов я проснулся от урчания в желудке. Сырое молоко и влажный воздух в хлеву сделали своё дело – в животе словно рота солдат била в барабан. Рези в желудке и подступавшая тошнота изматывали меня.

Я не спал до самого утра, а на рассвете меня вновь вывели из хлева. До самого вечера я работал, как вол, почти во всех дворах этого маленького села. Колол дрова, чистил снег, убирал хлев, таскал воду. Одним словом, выполнял самую тяжелую и грязную работу для всех жителей деревни. Кроме самих хозяев, за мной надзирал и вооруженный солдат. Перед началом работ он снимал с меня наручники, а ногу привязывал к цепи. Цепь была достаточно длинной, чтобы я свободно передвигался и в то же время не мог убежать. Но мысли о побеге не покидали меня. Я ждал удобного случая.

Днём, чтобы я не умер от голода, мне давали миску с похлёбкой, слабо напоминающей суп. Но даже этой бурды было слишком мало, чтобы поддержать силы человека, с утра до ночи не разгибающего спины. Работая, я всё время смотрел на руки хозяина дома в надежде, что он сжалится и протянет мне кусок хлеба.

Как-то вечером меня вновь отвели в штаб, к тому самому офицеру. В этот раз он был особенно зол, что я ещё больше почувствовал во время разговора. Выяснилось, что прошлым вечером наши убили одного армянского солдата. Вокруг печи сидели несколько человек, которые, опустив голову, о чём-то переговаривались на своём языке. Заметив меня, они тут же прервали разговор и подняли головы. Чувствовалось, что они обозлены до предела. Самый здоровый из них вдруг встал, схватил свой стул и швырнул им в меня. Если бы я не успел увернуться, он бы размозжил мне голову. Увидев, что промахнулся, армянин набросился на меня с кулаками. Мои руки были связаны, я даже не мог прикрыть ими лицо. Мне казалось, что от ударов голова вот-вот расколется, как орех. Не успокоившись на этом, детина начал бить меня ногами по животу.

Офицер, которого все называли Вовой, еле вырвал меня из рук взбесившегося армянина и оттащил его от меня. Тот, фыркая, оглядывался и глядел на меня таким испепеляющим взглядом, словно я убил его отца.

Из носа и рта струилась кровь. Она забрызгала одежду моего обидчика, стены, пол. Казалось, это была не комната, а бойня, где только что резали скот. Я и так был ослабшим, а после зверского избиения уже еле дышал. Ещё немного, и я бы испустил дух.

Вскоре военные вышли из комнаты. После их ухода офицер усадил меня на стул и, постучав по оконному стеклу, позвал одного из солдат, стороживших штаб снаружи. Когда тот пришёл, Вова приказал принести ушат с водой. Я начал смывать кровь с лица. Холодная вода, касаясь израненной кожи, приносила невыносимую боль…

Офицер начал допрос. В действительности он прекрасно понимал, что я многого могу не знать, так как пошел на фронт добровольцем. Отвечая на вопросы, я внимательно разглядывал черты его лица. В какой-то миг наши взгляды встретились, и, как это ни странно, я почувствовал его смущение. Возможно, это мне просто показалось. Офицер отвел взгляд в сторону и, помедлив, спросил:

– Что смотришь? Я показался тебе знакомым?

Набравшись смелости, я ответил:

– Кажется, я раньше видел тебя, только не могу вспомнить, где.

– Где ты мог меня видеть? Может, во сне? – усмехнулся он.

Но и я за словом в карман не полез:

– Да, верно. Возможно, во сне.

Офицер поинтересовался:

– Сколько тебе лет?

– Сорок!

Армянин заёрзал на стуле.

– А мне двадцать. Вот видишь, мы даже не ровесники – так что вряд ли когда-то вместе по бабам ходили.

Не обращая внимания на эту грубую шутку, я заметил:

– Ты очень похож на моего сына. Вы с ним словно две половинки одного яблока. Если бы ты его увидел, сам бы удивился. Правда, он на два года младше тебя, в институте учится.

Хлопнув рукой по столу, офицер засмеялся во весь голос. Затем вдруг посерьёзнел:

– Кажется, у тебя мозги вышибло от побоев… Сейчас прострелю тебе череп – будешь знать, как сравнивать меня со своим отродьем.

Он разозлился не на шутку. Я сжался, ожидая, что он набросится на меня с кулаками. Однако он продолжал спокойно сидеть и молча смотрел на меня.

Вскоре пришёл мой конвоир и вывел меня из штаба. Уже стемнело. Снег перестал идти, но в воздухе ощущался сильный мороз. Солдат вновь затолкал меня в хлев, не удосужившись дать хотя бы кусок хлеба. Но, увидев в хлеву корову-кормилицу, я воспрянул духом.

Так прошло около двух недель. Днём я работал, как вол, и с нетерпением ждал наступления темноты, когда меня отведут в хлев, где я вдоволь напьюсь парного молока. Благодаря ему я стал чувствовать себя гораздо лучше, кашель совсем прекратился. Организм постепенно привык к сырому молоку, и колики в животе перестали мучить меня.

Офицер Вова был родом из этой же деревни. Жил неподалёку от штаба в одноэтажном домике с матерью, которую, как я узнал, звали Варварой. Несколько раз мне довелось рубить дрова и у них во дворе.

По сравнению с другими армянками, у которых мне приходилось работать, Варвара не была столь агрессивной по отношению ко мне. Даже иногда, несмотря на протесты моего надзирателя, кормила меня горячим обедом. Когда я работал во дворе, Варвара, набросив на плечи вязаную шерстяную шаль, украдкой наблюдала за мной, стоя на веранде. Иногда я исподтишка смотрел на неё. Поймав мой взгляд, Варвара лукаво подмигивала мне и улыбалась. Она была моей ровесницей. Когда мой конвоир куда-нибудь отлучался, мы подолгу беседовали с ней. Я чувствовал, что эта женщина не на шутку увлечена мной. Однажды она напоила моего надзирателя водкой до бесчувствия и увела в дом, где тот моментально заснул. Потом вернулась во двор и, взяв меня за руку, отвела в сарай… После этого мы окончательно сблизились. Я почувствовал, что она и сыну замолвила за меня словечко, потому что меня уже не мучили, как прежде.

Когда мне приходилось работать у других, Варвара скучала. Но обычно долго так не продолжалось – где бы я ни работал, после обеда за мной приходили и отводили к ней во двор. Конечно, всё это было её рук делом… Вначале я выполнял разные мелкие поручения по дому, но потом она нашла для меня хорошую долгосрочную работу. Мне было приказано сделать пристройку к западному крылу дома. А для этого требовалась, как минимум, пара недель. Как-то во время беседы я сказал Варваре, что её сын очень похож на моего. Она рассмеялась в ответ:

– Мамеджан, клянусь Богом, если бы я хоть раз побывала в ваших краях, непременно сказала бы, что Вова – твой сын. Но я никогда не была там. И, честно говоря, у меня и мужа-то никогда не было.

Ничего не понимая, я пожал плечами и с удивлением посмотрел на неё.

– Да, Мамеджан, я никогда не была замужем, – повторила Варвара. – Моя молодость прошла в гостиничных номерах. Бог знает, со сколькими мужчинами я спала…

– А кто же тогда отец Вовы?

– Откуда же мне знать, душа моя. Бог знает, чей он сын.

Моему удивлению не было предела:

– Что ты такое говоришь?! Не может быть, чтобы ты не знала, кто его отец!

Видя мое недоумение, она рассмеялась ещё громче:

– Думаешь, я запуталась в мужчинах? Нет, душечка, поверь мне. Я действительно не знаю, кто отец Вовы. Всё намного сложнее…

Я решил, что Варвара насмехается надо мной, и молча продолжил отложенную работу. Варвара заметила, что я обиделся:

– Эх, Мамеджан, почему обижаешься? Я правду говорю. Я действительно ни разу не видела Вовиного отца. Он рождён при помощи ЭКО, искусственного оплодотворения… – Варвара немного помолчала, погрузившись в воспоминания. Затем продолжила:

– Нас было около ста девушек по вызову… Таких ещё называют «жрицами любви»… Мы работали в гостиницах. Как-то ночью пришли люди, погрузили нас в машины и вывезли за город, в такую даль, где мы раньше ни разу не бывали. Разместили по палатам. Да, именно по палатам, потому что это место больше напоминало больницу. Палат было очень много. В каждой поселили по пять человек. Все мы были как на подбор – молодые, здоровые девки. Нас продержали около месяца под строгим медицинским наблюдением. Полностью обследовали. Проверили всё – от кончиков пальцев до корней волос. Дважды в день приходили врачи. За нами ухаживали, хорошо кормили. Словом, жили мы, как принцессы. Ни в чём нам не отказывали. Проси, что хочешь, кроме мужика… а по мужской ласке мы ой как истосковались... Одна даже в шутку говорила: «Может, обменяете все эти блага на какого-нибудь мужичка – хоть на лысого или хромого. Не лучше ли это будет?»

Через месяц прибыли иностранные врачи, и всем нам сделали ЭКО – искусственное оплодотворение. Сначала мы ничего не могли понять. Потом выяснили – им нужны были рожденные искусственным путём сильные выносливые дети. С этой целью иностранцы привезли специально отобранную мужскую сперму. Девчонки ещё тогда шутили между собой: «Что это с мужиками стряслось, что их работу доверили бездушным железякам? Совсем ни на что не годны уже, а мы и не в курсе?»

После процедуры всех нас взяли под строгий контроль. К каждой приставили персональную медсестру. Через месяц те же самые врачи приехали вновь. На этот раз их интересовали результаты. Эмбрионы прижились почти у всех, за исключением нескольких девушек. В должный срок все пациентки родили. Как ни странно, мне повезло в этом смысле больше всех. Не знаю, сколько времени функционировала эта спецбольница, но мой Вовочка оказался тысячным ребёнком, рождённым в её стенах. По этому случаю мне вручили особый приз – дорогое бриллиантовое кольцо. Видишь, какая я везучая!

Интересно, что большинство младенцев были мальчиками. Вот и я, как видишь, родила Вову. Детей вскармливали грудным молоком мы сами, но под присмотром врачей. Нам их приносили трижды в день. Представь, Мамеджан. Я стала матерью, родила ребёночка… и это было такое чудо… Знаешь, что самое смешное? Когда я подносила малютку к груди, мне было так щекотно, что я еле сдерживала смех. А он, как пиявка, так сильно присасывался к соску, что невозможно было оторвать его от груди. Всё-таки как это прекрасно – быть матерью…

Вова был смуглым и очень сладким ребёнком. Я полюбила его с первого дня. Иногда меня одолевали мысли – интересно, кто же его отец, какой он национальности? Среди девочек ходили слухи, что мужская сперма доставляется из Африки, там люди более выносливые… Но мой Вовочка совсем не был похож на африканца. Он был таким сладеньким…

До года дети оставались с нами. Затем их отняли у нас. Мы надеялись, что и нас выпустят из лечебницы, и мы заживём, как прежде. Заточение осточертело нам. Но не тут-то было… Через какое-то время нас опять подвергли такой же процедуре. Как каких-то подопытных кроликов... После Вовы я родила ещё двоих мальчиков. Когда мне показали последнего, я чуть с ума не сошла – это был чёрный, как уголь, негритёнок с толстыми губами, расплющенным носом и пружинистыми кучеряшками на голове. Меня аж мороз по коже продрал, когда я взяла его на руки… Но что поделаешь – я произвела это дитя на свет, и мне за ним ухаживать. Они следили, чтобы мы хорошо смотрели за малютками…

Немного помолчав. Варвара сдвинула брови:

– Знаешь, что самое удивительное? Этих детей готовили для войны, им нужны были будущие воины…

Я слушал Варвару, и в душе словно что-то переворачивалось. Смутные догадки, обрывки туманных воспоминаний вихрем проносились в голове. Яркой вспышкой в памяти вспыхнуло воспоминание о случае, который произошел так давно, что я даже забыл о нём… Неужели? Неужели Вова – мой сын?!

***

… Я учился на последнем курсе Института физкультуры. Был статным высоким юношей спортивного сложения, на которого заглядывались все девушки института. Как-то, гуляя после занятий, я забрёл на окраину города. Проголодавшись, зашёл в небольшое кафе перекусить. Ко мне подошла официантка – молодая симпатичная, рыжеволосая армянка. Она окинула меня оценивающим взглядом и спросила, что я буду заказывать. Заметив взгляды, которые она на меня бросала, я сначала не придал им особого значения, так как знал, что женщины, работающие в барах, кафе и ресторанах, часто кокетничают с посетителями.

Проглотив наспех сосиску и запив её кружкой пива, я встал и только собирался выйти из кафе, как официантка подошла ко мне и, взяв под локоть, потащила в соседний кабинет, жарко шепча:

– Красавчик, ты мне очень понравился. Приходи опять вечерком, не пожалеешь. Хочу хотя бы на часок забыть обо всём на свете в твоих объятиях.

Я был молодой и горячий. Естественно, столь заманчивое предложение не могло оставить меня равнодушным. Вечером я вновь пришёл в кафе. Завидев меня издали, она подошла ко мне, усадила за столик. Тут же принесла кружку пива и закуски. Когда рабочий день закончился, она закрыла кафе и отвела меня в соседний кабинет… Это была сумасшедшая ночь. Я был с ней почти до утра, несколько раз. Напоследок ей захотелось любви «по-французски»… Добившись своего, она собрала мою сперму в целлофановый пакет и со смехом сказала:

– Это твой сын, мы всегда будем помнить тебя, папочка.

Увидев мою растерянность, подмигнула мне. Я, конечно, ничего не понял, подумав, что это просто прихоть развратной женщины.

Больше я к ней не ходил. Но по разговору приятелей из института понял, что не один я был так близко знаком с рыжеволосой официанткой – к ней часто захаживали многие наши спортсмены…

С тех пор прошло 20 лет… Я только сейчас понял, какие коварные планы вынашивала рыжеволосая бестия, соблазняя наших парней…

Я спросил у Варвары про судьбу других «искусственных» детей. Живут ли они также в этой деревушке? Варвара ответила, что периодически встречалась с ними, даже с негритёнком… Их ведь поместили в специальный детский дом, построенный в лесу.

– Конечно, мы скрывали это от всех, в нашу тайну были посвящены только мы сами и наши врачи. Кстати, в прошлом году моего африканца застрелили в бою ваши. Мне даже тело его не выдали… думали, что он был иностранным наёмником. На самом деле он – мой родной, «шоколадный» сыночек Никос. У меня был ещё один мальчик – узкоглазый, маленького росточка. Но его судьба мне не известна...

Вова, как и я, ничего не знает о своём отце. Я сказала ему, что его отец давно умер...

Я слушал рассказ Варвары, и мне казалось, что всё это происходит во сне. Только сейчас я всё понял и больше ни на минуту не сомневался, что Вова – мой сын.

Я ничего не сказал Варваре. До сих пор сожалею, что не открыл ей правды… Ведь именно она помогла мне бежать из плена в морозную, снежную ночь. Прощаясь, она положила голову мне на грудь и сказала:

– Мамеджан, Вова так похож на тебя. А может…

Она не закончила фразу и просто улыбнулась.

Я же посмотрел ей прямо в глаза:

– Варвара, ты хочешь сказать, он – мой сын?

– Откуда мне знать, Мамеджан. Ты такой мачо? – пошутила Варвара. – А, впрочем, это было бы замечательно. Я бы тогда ещё больше любила его…

Прощаясь с Варварой, я попросил:

– Постарайся взять сына и уехать подальше отсюда. Эта война – не для вас.

Она кивнула головой:

– Я тоже так думаю.

Благодаря Варваре я смог бежать из плена и перейти к нашим.

… С тех пор прошло много лет, но я до сих пор не могу понять, с кем же мы воюем…

Перевод Лейлы КАДЫРЗАДЕ

Непростительный грех

… Он был досрочно уволен с военной службы по состоянию здоровья. Вдали от прежней суеты, в тиши этого уголка, окруженного с трёх сторон густым лесом, он находил теперь успокоение. Журчание ручья с прозрачной, как слеза, водой, чистый воздух, тишь и благодать, разлитые в природе, хоть ненадолго, но отвлекали от мрачных мыслей.

Каждый день после обеда он брал удочку и спускался к речке. Река была пресноводной, и поэтому здешняя рыба отличалась отменным вкусом. Но главное было не в этом… просто боль отпускала его, когда мысли были заняты клёвом…

Глубокие следы ожогов изуродовали его лицо до неузнаваемости. Кожа на правой стороне съёжилась вокруг подбородка, из-за чего казалось, что правый глаз вот-вот вылезет из орбиты. Левый же совсем ослеп. Все руки также были испещрены рубцами от ожогов.

Днём свежий ветерок, доносившийся с гор, казалось, остужал душевные и телесные муки, но в холодные ночи раны начинали ныть, не давая покоя. Боль рука об руку с наступившей бессонницей до самого рассвета неотступно преследовала его.

Вот уже два года он жил один, как отшельник: жена, забрав дочь, ушла от него. Да он и не винил её вовсе – «а что ей ещё оставалось делать? Терпеть всю жизнь его болячки?»

Но, конечно же, он очень тосковал по семье, особенно по единственной дочери – своей Принцессе.

Он привык к беспокойной военной службе, постоянному нахождению среди множества людей, и поэтому пришедшая на смену суете спокойная размеренная жизнь в глуши угнетала его. Ведь, как и любому человеку, ему нужно было живое общение, он испытывал неодолимое желание поговорить с кем-нибудь, излить свою душу. Но в этот забытый Богом уголок, расположенный слишком далеко от города, редко наведывались люди.

Однажды, проснувшись рано утром, он увидел неподалёку от своего жилища раскинутую на берегу реки палатку. Порадовавшись в душе нежданным гостям, он всё-таки не решился подойти к ним.

Ближе к полудню из палатки вышли двое – мужчина лет сорока-сорока пяти и молодая девушка лет двадцати пяти. Парочка, весело смеясь, направилась к ручью. Он с грустью проводил их взглядом. Можно было только позавидовать счастью этих влюблённых, которые весь день гуляли в обнимку, то и дело целуясь. Когда-то и он любил свою жену, как сумасшедший. Когда-то и он был счастлив. Когда-то... Казалось, это было очень давно, в прошлой жизни… А сейчас его удел – одиночество в безмолвном лесу…

На следующее утро он, как обычно, ловил рыбу, когда вдруг почувствовал, что кто-то стоит за его спиной и наблюдает за ним. Обернувшись, он увидел ту самую девушку. Увидев обезображенное лицо мужчины, она в испуге отпрянула в сторону и закричала. Он тотчас же отвернулся и тихо сказал:

– Извините, не заметил, как вы подошли… Кажется, я напугал вас. Решили, что встретили дикого медведя? Не бойтесь. Я уже давно обитаю в этих краях и ещё ни разу не видел здесь медведей. Наверное, своим уродством я распугал даже бедных зверей.

Молодой женщине стало неловко – она замялась, подыскивая слова, чтобы как-то сгладить свою нечаянную бестактность.

Почувствовав её замешательство, он поспешил на помощь:

– Я каждый день ловлю здесь рыбу. Наловлю с десяток – и снова выпускаю их в реку, пусть живут! Оставляю себе на пропитание только одну – мне хватает…

Затем, указав на ведро, полное рыбы, добавил:

– Возьмите, не стесняйтесь. Сегодня рыбалка выдалась на редкость удачной. Смотрите, сколько рыбы…

Девушка подошла поближе и, запустив руку в ведро, вынула из него большущего окуня.

– Если хотите, можете приходить каждый день за свежей рыбой, - радушно предложил он.

На следующее утро она пришла вновь. И опять, встав тихонечко в сторонке, молча наблюдала за ним. Чтобы не напугать девушку, он старался не оборачиваться к ней. Она поняла это, но уже не боялась его.

Так прошло несколько дней. Они подружились. Каждый день девушка приходила на берег, и он угощал её свежей рыбой.

Её же мучили вопросы: что случилось с этим человеком, почему он живет в лесу, есть ли у него семья?

И хотя любопытство одолевало молодую женщину, она боялась обидеть его своими расспросами.

Но однажды любопытство взяло верх, и, набравшись смелости, она спросила:

– Можно задать вам один вопрос?

Мужчина, сняв с крючка трепещущую рыбу, бросил её опять в реку:

– Знаю, о чём вы хотите спросить.

– О чём же?

– Хотите узнать, что произошло со мной, почему моё лицо так обезображено. Почему я живу, как волк, один в лесу? Есть ли у меня семья… Угадал?

Девушка кивнула головой:

– Да. Признаться, именно об этом я и хотела спросить.

Мужчина впервые за весь разговор повернулся к молодой женщине лицом и внимательно посмотрел на неё. Сколько дней они были знакомы, а он и не знал, что она так красива. Перед этой красотой ему стало даже стыдно за своё уродство, и он поспешно опустил голову:

– Это долгая история. Думаю, вам будет неинтересно. Лучше не буду рассказывать.

Но девушка продолжала настаивать:

– Ну, пожалуйста… расскажите… мне очень интересно…

Уступив её настойчивости, он начал неторопливое повествование:

– Я был военнослужащим. Рота, которой я командовал, охраняла лесополосу. Вдали, у подножия горы, располагалась зона отдыха. Там всегда было много отдыхающих.

И хотя нас отделяло достаточно большое расстояние, их голоса, смех и звуки музыки доносились до нас. Нам казалось, что эти праздные, беззаботные люди так счастливы… Мы смотрели на них с завистью.

Однажды ночью я вышел проверить посты. Всё шло своим чередом. Ночь была спокойной, небо чистым. Военные, наверное, больше гражданских ценят ночную тишину. Хотелось лечь и как следует выспаться.

И вдруг я заметил язычки пламени над одним из коттеджей санатория. Огонь постепенно разгорался, отбрасывая отблески в ночной темноте. Сначала я растерялся и не знал, что предпринять. Ведь было далеко за полночь – отдыхающие, наверняка, крепко спали и не подозревали о пожаре.

Взяв с собой двух солдат, я побежал в сторону санатория. Огонь уже полностью охватил деревянный домик, и внутрь невозможно было попасть. Но и времени терять было нельзя – находящиеся там люди могли заживо сгореть. Не мешкая, я выбил стекло и пролез через окно. Кинулся в спальную комнату. На широкой двуспальной кровати в обнимку лежали мужчина и женщина. В голове мелькнула мысль, что двое этих влюбленных даже не подозревают, что с ними может произойти буквально через несколько минут.

В тёмной комнате невозможно было дышать из-за едкого дыма, с каждым вздохом пронзающего лёгкие. Отблески пламени, полыхавшего снаружи, немного освещали помещение, и я мог, хоть и с трудом, различать предметы. Недолго думая, я взял на руки спящую женщину – в нос ударил запах алкоголя. Через окно я передал её солдату, стоявшему снаружи. Затем вернулся обратно в спальню, с трудом поднял мужчину. Угарный газ, разъедающий ноздри, не мог заглушить запаха перегара, исходившего от него. Наверняка, накануне вечером парочка напилась до беспамятства. Иначе они бы проснулись.

Я был счастлив и горд, что спас две жизни. Вернулся обратно, чтобы проверить, не остался ли в комнате ещё кто-нибудь. И в этот момент крыша обрушилась на мою голову. Я остался под горящими обломками. Одежда вмиг загорелась на мне. Я закричал, зовя на помощь, и потерял сознание… Что было дальше – не помню.

Очнулся я уже в госпитале, лицо и глаза были обмотаны бинтами. Обгорело всё тело, но больше всего пострадало лицо. Один глаз полностью вытек, второй наполовину ослеп.

Я пролежал в госпитале около шести месяцев. Раны от ожогов усугублялись перенесённым стрессом. Я долгое время не мог прийти в себя, стереть из памяти эту кошмарную ночь… И даже сейчас не всегда могу совладать со своими нервами. Вот так…, – тяжело вздохнул мужчина, закончив свой рассказ.

– И всё же я рад, что пострадал не зря, что спас тогда этих двоих. Думаю, они любили друг друга, и впереди у них благодаря мне – счастливая жизнь… Только это меня и утешает, – добавил он после минутного раздумья.

Молодая женщина, не мигая, смотрела на него и вдруг, закрыв лицо руками, громко разрыдалась. Мужчина, решив, что его рассказ расстроил её, попытался как мог успокоить женщину. Но рыдания продолжали сотрясать её плечи…

Своими мозолистыми руками он оторвал её ладони от заплаканного лица, бормоча слова утешения.

Женщина, оттолкнув его, вдруг закричала:

– Не прикасайся ко мне! Ты – несчастный человек… Ты даже не знаешь, ради кого пожертвовал собой, кого ты спас…

От неожиданности мужчина растерялся. Она же продолжала кричать:

– Несчастный… что ты сделал с собой? Чем ты пожертвовал…. И ради кого?.. Ради меня… ради проститутки и распутного мужика… Стоило ли?.. Нет, ты не подвиг совершил, а грех, непростительный грех.

Не в себе от переполнявшего её раскаяния она бросилась на колени перед мужчиной и в какой-то безумной ярости стала колотить кулаками по земле.

Из-за рыданий он не мог разобрать слов. Наконец она немного успокоилась.

– В тот злополучный день мать взяла меня с собой в дом отдыха. Признаться, она просто продала меня одному знакомому толстосуму. В ту самую ночь мы напились до бесчувствия… а потом я осталась с этим мужчиной наедине. Мы были так пьяны, что забыли потушить свечи, горевшие на столе… Именно поэтому и произошло возгорание…

Видишь, как несправедлива судьба… Хорошие люди жертвуют собой ради ничтожеств… Да пропади пропадом такая жизнь, такое низменное счастье… Теперь ты понял? Что я могу тебе сказать в своё оправдание?.. Ну выругай меня, как следует, ударь меня, чтобы душа моя хоть немного успокоилась, – умоляла она.

Мужчина лишь задумчиво тёр щетину на подбородке. Казалось, старые раны вновь заныли, причиняя боль. Некоторое время он молчал. Затем, подняв глаза, спросил:

– Вы хоть потом поинтересовались, кто вас спас, что стало с этим человеком. Жив ли он?..

Молодая женщина вздрогнула, как от удара хлыстом – ведь до сегодняшнего дня она и не вспоминала о незнакомце, спасшем ей жизнь.

Мужчина понял, что означает её молчание, и, тяжело вздохнув, прошептал:

– В таком случае никому не говорите об этом. Пусть люди продолжают делать добро и считают это своим человеческим долгом… иначе… иначе человечности придёт конец…

Сказав это, он взял удочку и тяжелой поступью зашагал прочь от реки.

… Наутро на берегу уже не было палатки…

Перевод Лейлы КАДЫРЗАДЕ

ГЮЛЯР АБДУЛЛАБЕКОВА

Карабах в творческих инспирациях польских кавказских поэтов XIX века

Одним из первых в польской литературе к теме Карабаха обратился польский поэт **Тадеуш Лада Заблоцкий** (1813-1847). Сосланный на Кавказ за участие в антимонархическом движении, Т.Л.Заблоцкий, выпускник исторического факультета Московского университета, член тайного общества – «Товарищества любителей родной литературы» в 1833 году был арестован и в 1837 году сослан на Кавказ после длительного судебного процесса. Так начался тяжелый десятилетний период его ссылки. Этапы переездов Заблоцкого проясняются благодаря датам создания его произведений: станция Безопасная, Внезапная, Царские Колодцы, Хазры – Дагестан, Куба, Шемаха. В 1842 году, обойдя Кавказ с юго-восточной стороны, Заблоцкий побывал в Тифлисе, в Дзварис-Ахмарти, Ларсе. В 1843 году в письме Р.Подберезскому он пишет: «Я побывал в Эривани, Нахичевани, Ордубаде, Ечмеадзине, был на Арарате, словом, вдоль границы Персии и Турции. Впечатления об этой поездке записаны мною и до сих пор лежат в бумажнике». Записи, упорядоченные польским поэтом, к сожалению, не дошли до наших дней. Т.Заблоцкий, очарованный горной природой Кавказа, отразил ее во многих своих стихотворениях. Поэт изучал языки кавказских народов, собирал азербайджанские (как их тогда называли «татарские») народные песни. В 1845 году Т.Л.Заблоцкий был назначен управляющим соляными копями в Кульпах, недалеко от горы Зиярет-даг. В 1847 году умер от холеры. Поэтическое наследие Заблоцкого было издано Р.Подберезским в Петербурге в 1845 году. В списке подписчиков на сборник стихов поэта были его земляки из Ковно, Белой Церкви, из Гумани, Каменца-Подольского. Среди подписчиков были также представители кавказской интеллигенции – его грузинские и азербайджанские друзья, среди которых князь Сулхан Баратов, князь Александр Бехтабеков, Кипиани – советник при царском Дворе, Нина Чавчавадзе и Аббас Кули-ага Бакиханов, о котором в примечании сказано: «Поэт и историк персидский, известный на Востоке под именем «Кудси».

Аббас Кули-ага Бакиханов – выдающийся азербайджанский просветитель, философ, который сыграл особую роль в творчестве Т.Л.Заблоцкого. Благодаря тесной творческой и человеческой дружбе представителей интеллигенции Европы и Востока польская романтическая литература обогатилась лучшими образцами азербайджанского устного народного творчества, переводами из Корана. Следует отметить, что Т.Л.Заблоцкий был первым переводчиком научного трактата А.К.Бакиханова «Гюлистани-Ирем» на русский и польский языки. Благодаря А.К.Бакиханову Т.Л.Заблоцкий глубоко изучил историю Карабаха, ознакомился с творчеством талантливого карабахского поэта – Моллы Панаха Вагифа. Антимонархическая направленность стихов Вагифа была близка Заблоцкому, который всю свою жизнь посвятил борьбе с тиранией и произволом, чинимым над простым народом.

Молла Панах Вагиф жил в сложное и напряженное время в истории Азербайджана. Это был период междоусобных войн, обусловленных раздробленностью и отсутствием единства между ханствами. Молла Панах Вагиф был визирем правителя Карабаха Ибрагим Халил-хана. Вагифа прославила не только его поэзия, но и ученость: он прекрасно разбирался в астрономии, зодчестве, педагогике. Ибрагим-хан также был умным (мудрым) правителем. В годы правления Ибрагим-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств.

Среди азербайджанских ханств XVIII века, которых было около десяти, Карабахское ханство положительно выделялось как в экономическом, так и в политическом отношении. В 1796 году шах Ирана Ага Мохаммед направился в поход на Карабах. Вагиф с оружием в руках защищал карабахскую землю. Обессилевший от посягательств, постоянных нашествий неприятеля народ дрогнул, Ибрагим-хан покинул Карабах. Вагиф же остался в окрестностях Шуши. Иранский правитель приказал казнить поэта утром следующего после его победы дня. Однако в то самое утро был убит своими же слугами.

Вагиф, оказавшись на свободе, был потрясен происшедшим и обратился к своему другу поэту Видади с письмом в стихах, в котором поделился радостью по поводу кары, постигшей ненавистного захватчика. Такова история создания этого стихотворения, переведенного на польский язык Тадеушем Ладой Заблоцким.

Тадеуш Лада-Заблоцкий писал: «Это стихотворение – «Песнь на смерть Ага-Мохаммед хана, шаха Персидского, убитого в Шуше, в Гарабахе в 1797 году», Молла Панах Вагиф написал его для Видади-бека Гарабахского.

«О, Видади! Посмотри на перемены коварного мира. Посмотри на судьбу, на случившееся и его результат. Вчера под утро погасло то пламя. Каким счастливым был для него вечер, каким несчастливым утро!.. Когда гордая голова, что так высоко поднималась над толпой, рассталась с короной, грязные ноги черни затоптали ее и оскорбили. Бедный человек! Пример тебе Ага Мохаммед-хан, не мечтай быть ни Султаном, ни Ханкяром!».

В сноске к слову «Ханкяр» польский поэт поясняет его значение следующим образом: «Так Персы называют Султана Турецкого».

Поэзия азербайджанского поэта Вагифа впервые была представлена европейскому читателю польским поэтом Т.Л.Заблоцким. Перевод, благодаря русским подстрочникам А.К.Бакиханова, отличается смысловой адекватностью, высокой художественностью, поэтическим мастерством. Это подтверждает и заголовок к стихам, представленным польскому читателю: *«Несколько народных песен закавказских татар. Собрал и с помощью Аббас Кули-хана Бакинского перевел и объяснил Тадеуш Лада Заблоцкий».* Стихи были посмертно опубликованы в польском журнале «Rubon».

Следующим к теме Карабаха обратился талантливый поэт и писатель **Владислав Стшельницкий** (1820-1846). Также, как и Т.Л.Заблоцкий, он был сослан на Кавказ за участие в антицарском движении. В.Стшельницкий – выпускник Киевского Университета, вынужден был нести воинскую службу в царской армии на Кавказе. Произведения поэта, изданные в 1839-1941 годах, были написаны им в Шуше, Аскеране, Шемахе, Баку, Кюрдамире, Хиндархе, Агджабеди. В.Стшельницкий продолжительное время жил в Карабахе, на юге Куринской долины, в Ходжалы, у подножия Кавказского хребта. Действие популярной в то время в Польше повести В.Стшельницкого «Махмудбек» происходит в разных регионах Азербайджана: в Ленкорани, Баку, Шемахе, а убежищем героя повести являлась крепость Гызгала под Шемахой.

Тема Карабаха нашла свое отражение в «Кавказских очерках» писателя. Автор подробно рассказывает об истории этого края, описывает архитектурные памятники и прекрасную природу Карабаха, говорит о народе, живущем в бесправии и нищете под игом захватчиков. В.Стшельницкий дает историческую справку об этом прекрасном уголке Азербайджана: *«Карабах – мусульманская провинция, возвращенная России Падишахом, в силу трактата, заключенного в 1812 году. Прославился великолепными конями».*

«Кавказские очерки» пронизаны грустью и безысходной тоской по родине, из которой он был изгнан.

Теплое и искреннее отношение азербайджанцев к польским братьям, разделяющим ту же судьбу, находящимся под игом царской империи, помогало им преодолевать духовные тяготы.

«Передо мной одинокое место: раскинулась гладкая равнина, в центре которой ручей, подобно серебряной нити на зеленом бархате, вокруг безлюдные чащобы, ущелья, горы, на самой высокой горе светилась вдали белая стена Шуши – заоблачного города. … Вскоре прямо перед нами показались развалины Аскерана. На двух противоположных склонах два серых, мрачных замка, соединенные между собой высокими стенами, протянутыми через все ущелье. Башни подобны скелетам каких-то великанов из древних сказок. …Эти развалины помнят Митридата, а может быть и самого Александра Македонского. …Я обратился к Мустафе с вопросом, древний ли это замок? – О, древний! – А к примеру, сколько ему будет? – Больше пятидесяти лет. Его построил Панах-хан, чтобы защитить это горное ущелье от Меликов. …Отношения Панах-хана с Меликами представляют важный, архиважный период в истории Карабаха, в свое время я расскажу тебе об этом. …Внук Панах-хана Мехти-Кули-хан еще жив и является ханом Карабаха. Живет в своей деревне в Ахдаме, мы проезжали через нее. Уважаемый и любимый всеми старичок, благодетель для близких, мягкий для подданных. Он получает большие доходы с наследства, огромную пенсию, которую ему выплачивает правительство. …В Ахдамских садах в гуще плачущих ив виноградников возносятся несколько бесформенных пирамид. Это усыпальницы предков Мехти-Кули-хана. Когда-то еще одна пирамида появится среди них и ивы грустным шелестом своих ветвей будут обращаться к путникам с просьбой о поклоне в память последнему Карабахскому хану. В одиннадцатом часу мы прибыли в Хиндарх».

Интерес представляет описание Агджабеди и реки Куры. *«В Агджабеды много садов в которых более всего тутовника и винограда. Виноград идет на продажу, а тутовник на прокорм шелкопрядам. Из шелковых тканей шьют знаменитые в Карабахе джиджимы и шалвары, которые отличаются своей удивительной долговечностью»*.

Особый интерес представляет для нас описание Куры – славной, любимой в Азербайджане реки, которой посвящены многие литературные произведения. Знаменательно использование автором в повествовании азербайджанского варианта названия реки – Kür. *«Кюр – историческая река. У ее берегов, основатель персидской монархии, от имени которого река взяла свое название* (Кир – **Г.А.**), *нашел конец своим захватам; у ее берегов Помпей громил Иберцев и Албанов, здесь был и Александр сын Филиппа, были Митридат и Нуширван, хромой Тимур и Аббас Великий, а также Надир-шах (…). Кюр, также, как и Рион, носил на себе греческие, генуэзские венецианские корабли, нагруженные редкостями Индии (…). Когда-то Васко да Гама направлялся сюда на экваториальных исполинах (…) Кюру осталось лишь одно воспоминание о былом великолепии».*

Приведенная информация как нельзя лучше говорит о глубоком знании В.Стшельницким азербайджанского языка, истории Азербайджана, об уважении к культуре, духовным ценностям древнего края.

«Кавказские очерки» польского писателя Вл. Стшельницкого, являясь документальным произведением по своему стилю, содержат элементы реалистического изображения действительности, отличаются высоким художественным уровнем, свидетельствуют о таланте польского писателя. «Кавказские очерки», содержащие точную, насыщенную информацию об Азербайджане и одном из прекрасных его уголков – Карабахе, его истории, культуре, религии, этносе и т.д., являются ценным материалом для изучения Карабаха XIX века для историков, филологов, этнографов. Особую ценность представляет информация, данная автором об исторической принадлежности Карабаха Азербайджану: *«Карабах – мусульманская провинция, переданная шахом Ирана русскому царю согласно трактату, заключенному в 1812 году»*.

АЛПАЙ АЗЕР

Н О В Е Л Л Ы

Из цикла «Из пятой линии на Малом проспекте»

Странная встреча

Этюд

Он страстно и быстро шагал за ней. Чем быстрее он шагал, тем больше она ускоряла свои шаги. Он никак не мог догнать ее. Он чувствовал себя отвратительно. «Какая мерзость, – думал он, – она просто так бегает или знает, что кто-то за ней ходит? Лишь бы догнать ее и сказать что-нибудь приятное».

Наконец он догнал ее и схватил за руку. Она резко повернулась. Это была стройная, красивая, с холодным взглядом девушка. Ее красота отразилась в ее голубых холодных глазах. Это была снежная королева, но снежная королева не из сказки, а из реальной жизни. Но лучше ее называть ледяной красавицей. Он встречал многих холодных девушек, но эта была самая сказочная, самая изящная. Она мгновенно улыбнулась. И улыбка была холодная. Чем больше он ощущал этот холод, тем теплее ему становилось. Ему казалось, что если бы это была девушка, создающая теплую ауру вокруг себя, то она была бы одной из многих симпатичных девушек, которых часто можно видеть на улице. Он крепко сжимал ее руки и страстно смотрел в ее глаза, получая через эти пальцы какую-то сказочную энергию, за которой вот-вот должно последовать сильное сердцебиение. Это сердцебиение, это волнение было бы самым сильным, но также и самым приятным ощущением в его жизни. Но он старался сдержать это волнение, которое могло бы вызвать у нее отвращение к нему. И вдруг сзади него раздался сильный шум, и он, реагируя на это, сразу повернулся. Это были несколько школьников из младших классов, которые одновременно взрывали хлопушки. Но когда он вновь повернулся, чтобы увидеть девушку, её уже не было... Ему так и не удалось ничего сказать.

Под солнцем

Этюд

На берегу моря, на песке лежала девушка лет 17-18. Вот уже некоторое время как он наблюдал за ней. Она была молода, красива, весела и полна жизненной энергии. С закрытыми глазами она играла с песком и, как маленький ребенок, чувствовала себя абсолютно счастливой. Теплый морской ветер ласково обдувал ее красивое тело. Она чувствовала, что нравится и ветру, и солнцу, но она знала, что пришла сюда ради солнца, поэтому, прячась за солнцезащитными очками, улыбаясь, заигрывала с ним, то тихо смеясь, то высовывая язык, то облизывая пересохшие от жары губы. Солнце же оставалось по-прежнему невозмутимым, понимая, что в этот миг она принадлежит ему. Он почувствовал укол ревности, затем ему стало смешно. «Дурак я полный, приревновал к солнцу». Он смотрел на красивое, загорелое тело и презирал себя за свою нерешительность, за то, что не мог просто приблизиться и поговорить ни о чем. В конечном счете он успокоил себя тем, решив, что он просто наблюдает красивый морской пейзаж. Ему тоже захотелось посмотреть на солнце, но он обнаружил, что забыл очки дома. Когда он, наконец, все-таки решил, что подой-

дет к ней, погода резко изменилась, солнце исчезло, стало прохладно. Он удивился резкой перемене погоды и когда снова повернулся в ее сторону, то увидел, как она, собрав одежду, бежит в сторону своей машины. Затем машина завелась и тоже скрылась из виду. Он посмотрел на набегающие черные тучи, и ему стало спокойно.

Страсть и покой

Этюд

После некоторых раздумий он, находившийся в обаянии этой стройной, привлекательной, худощавой, нежной девушки, с плаксивым голосом, еще больше усиливающим эту привлекательность, описал ее как «демоническая красота». Ибо благодаря своему эгоизму она могла любить, пусть даже страстно, но с какой-то ненавистью, сама не зная, почему это так. «Это была, скорее всего, какая-то неопределенная внешняя сила, – подумал он, – которая завоевала ее душу и крепко обосновалась в ней, тем самым мешая ее любить всей душой. Находясь в ненависти к окружающей ее среде и часто впадая в уныние, она не ведала о той внешней силе. «Какое скверное название, – продолжал думать он, – демоническая красота. Демоническая, демон, сатана, Кармен, Настасья Филипповна, но ведь красота – то, что позитивно, то, что спасет мир». И что же имеет перевес: демоническое или красивое? Это позитивное словосочетание, ибо сутью является красота – то, что ублажает, внушает любовь, радость, чем наслаждается человек и находит покой или всю свою жизнь, или хотя бы некоторое время. «Нет там, где есть демоническое, не может быть никакой красоты, это сатана, который вошел в нее и словно маской красоты соблазняет кого хочет. Демоническая красота – это есть и красота антибожественная», – здесь он думал, как убежденный религиозный человек, и вспомнил, как она первая пригласила его на медленный танец, и в первый же день их знакомства, и на первом танце они страстно целовались, точнее, она смогла спровоцировать его на танец целований. Затем этот акт наслаждения повторялся несколько раз. И он презирал себя, как слабого человека, отошедшего от пути Бога. Самое противоречивое чувство он испытывал тогда, когда ему несколько раз воображалось ее красивое тело, странный смех с ироническим оттенком. Сначала он ругал себя за то, что вспомнил этот вечер, когда во время медленного танца целовал ее в своих крепких объятиях, ходил пальцами по ее спине, талии во время танца. Он упрекал себя, и чувство утешения приносило ему покой. Но затем ему воображалось, что ее теплая, белая и мягкая рука, откуда-то появившись, словно преодолев преграды его убеждений, захватив его руку, унесла его куда-то...

Тут он осознал, что все это одни лишь воображения и раздумья, которые, слегка покачав его, ублажают и беспокоят, что он даже забыл взять ее телефон и спросить, где она учится, чтоб снова встретиться. «Что ж, это хорошо» – он сказал про себя, обратил свой взгляд на небо... и нашел там покой.

Двойственные чувства

(Девичьи голоса)

Каждый раз, сталкиваясь на лестнице или на грязной кухне, кишащей коричневыми тараканами, в коридоре или на улице, они смотрели друг на друга и понимали, что взгляды эти были не случайные. Это происходило довольно часто, но они просто делали вид, что в этом студенческом общежитии все незнакомые (да и знакомые) могут несколько раз в день подобным образом сталкиваться друг с другом.

Когда он возвращался из университета, а она шла куда-то – то оба знали, что, когда расстояние между ними сократится с десяти метров до двух, он сначала со-

средоточится, затем направит свой взгляд на нее, она тоже – назовем ее Н. – с интересом будет две или три секунды смотреть на него.

Она была довольно мила, привлекательна, с большими, чуть с круглыми зелеными живыми глазами, его всегда поражали ее глаза, которые прямо говорили о ней: я создана прежде всего для любви и внимания.

И хотя училась она на третьем курсе, голос у нее был, как у девчонки-школьницы, такой звонкий голос девушки, которая еще не потеряла свою девственность, но иногда в нем прорывались страстные нотки девушки-женщины, которая вот-вот находится на пороге любви-совокупления, трепетно ожидающей своего единственного возлюбленного. Ее звонкий девичий голос гармонично сочетался с ее очень живыми зелеными глазами.

Его волновала радужная перспектива знакомства с ней, и он опасался, что другие (волки, жаждущие своей добычи, как он называл их) опередят его.

Ему нравилась ее кокетливость. Как-то, ожидая коменданта общежития, он увидел ее сначала быстро спускающуюся на первый этаж, затем нетерпеливо стучащую в дверь комнаты своей подруги. Когда их взгляды пересеклись, она слегка улыбнулась ему, показывая свое нетерпение, а он едва успел ответить ей той же улыбкой, как дверь отворилась, и она быстро вошла в комнату. В пустоте у порога остался ее аромат, вызвавший в нем родные и теплые чувства. И он даже постоял там немного, облекая свои чувства в слова.

Тебя там уже нету,
Там пустота.
Чтоб был я там,
И вышла б ты,
Без слов, без прикосновений,
Слились бы уста.

Минуту, не больше,
В поцелуях плыть.
Не больше, не меньше,
Затем и остыть.

Пока стих крутился у него в голове, он стоял у двери коменданта и воображал, как он с закрытыми глазами приблизится к ней, весь смущенный, а она, почувствовав его невинность, из чувства жалости ответит ему взаимностью, и так сольются губы хотя бы на минуту. В конце концов, для него настоящая любовь началась бы с минуты горячих поцелуев. Остыть… конечно, можно остыть временно, но затем спустя некоторое время тебе захочется слагать приличные куплеты….

«Что ж делать? – продолжал думать он. – По-моему, еще рано делать какие-то выводы. В принципе знакомство – не такая уж проблема, тем более здесь, в общежитии, тем более у него есть опыт. Только придется немного поволноваться перед вступительными предложениями (опыт у него действительно был, но он всегда заметно волновался, дрожал голос, интонация сильно менялась в произношении первых слов), а потом все пойдет, как по маслу. Но лучше пока повременить с этим знакомством. Я же в конце концов не так хорошо ее знаю». Для него было характерно оправдывать свою нерешительность, когда он не мог окончательно сделать выбор в пользу действия. А что касается будущих ответных поступков девушки, ее реакции, то тут, как всегда и везде, девичья гордость и скромность играют решающую роль: не будет же она сама подходить к нему и заводить разговор первой.

С того дня взгляды, которые они бросали друг на друга, стали более многозначительными, и за улыбками, которыми они обменивались, появлялась уверен-

ность, что за всем этим должно последовать продолжение. Но тут ему неожиданно в голову пришла (в общем-то глупая) мысль, что самым лучшим вариантом было бы подойти к ней и предложить при встрече смотреть не друг другу в глаза, а на пол или землю. И хотя затея была довольно идиотская, ему хотелось проверить ее на стойкость и выдержку, и накалить страсти (если они у нее появятся) для Главного Дня. Идея показалась ему даже романтической.

Когда он осуществил свой замысел, первой ее реакцией был полуудивленный взгляд, а затем, прерывисто бросив, «Ну, ладно, как хочешь», она быстро поднялась на пятый этаж. Сначала ему показалось, что это не пришлось по душе Н., но позже себе в оправдание сказал: «Нет, это ей понравится. Мое оригинальное предложение заставит ее подумать, что она не просто нравится, а здесь есть более серьезный момент…Тем более она сама сказала мне «Как хочешь», возможно, что ей оно даже понравилось. Хотя, будучи девушкой стеснительной, она могла не сказать прямо о своих мыслях по этому поводу. «Да черт с этими мыслями», – подумал он и, почувствовав презрение к себе, посмеялся над своим «оригинальным» предложением, в конце концов, он сам еще окончательно не разобрался в том, что означают ее улыбки, взгляды, случайные частые встречи. «Ну, конечно, их нельзя назвать совсем уж бессмысленными. А пока надо ждать и ждать», – успокоившись, пришел он таким образом к окончательному решению.

Где-то больше двух недель оба они были верны принятому решению. Каждый из них старался не нарушить «договор», быть внимательным. В течение этих двух недель он испытывал какое-то двойное чувство. «Вот она идет….Улыбается издалека, значит, про меня еще думает. Вот приближается, посмотрела на землю и все. Но все замечательно, все идет, как я и думал». Он испытывал чувство уверенности, что он разбирается в женской психологии, что он не ошибается в выборе относительно прекрасного пола. А другим чувством было то, что порой все это казалось ему абсурдным и бессмысленным. «Ну и что, к чему все это?!» – думал он. В конце концов размышления привели его к мысли о необходимости более решительных шагов. Пора! Вперед!

Но шла уже четвертая неделя и уже три дня, как он не видел Н. ни на кухне, ни в коридоре, ни на улице. «Странно, куда ж она исчезла?!» – и вдруг вспомнил, что началась очередная учебная сессия. А студенты, которые жили не в Питере, а в области, обычно в это время разъезжались по домам, готовясь к экзаменам, слишком бурная жизнь общежития с шумом празднующих дни рождения, пьяными посиделками под гитару, длящимися до утра, с вечными криками, мешала им готовиться к экзаменам. «Да, скорее всего, нет, все сто процентов, что она сейчас дома, сидит у себя, пьет сок и готовится к экзаменам. Ничего, пусть, подождем», – думал он, готовясь к очередной сдаче собственных экзаменов.

Настроение в тот день у него было хорошее, и он решил, что поднимется на пятый этаж, узнает у ее подруг или соседок, когда у Н. экзамен, купит ей цветы, пойдет в этот день в университет, узнает аудиторию, где идет экзамен, подождет, пока она не выйдет оттуда.

«Посмотрю ей в лицо, если она улыбнется, подойду, поздравлю и подарю ей цветы. Гм-м …нет, лучше после экзамена спрошу у ее подруг, какую отметку она получила, если 4 или 5, то найду ее и поздравлю. А вдруг она получит низкую отметку и, улыбаясь, просто отошлет меня подальше с цветами. Тогда где же я ее найду потом, ведь, сдав экзамен, она в любом случае не вернется в общагу, останется у себя дома или поедет куда-нибудь на юг, например. А может, мне лучше поехать к ней в область? Адреса не знаю, если спрошу у подруг, скажут, что не могут дать без ее разрешения, и что они меня не знают. Да нет, ее подруги давно знают меня, не может быть такого, чтобы Н. не рассказывала им обо мне, о моих странностях, возможно, она даже сказала им: «Девчонки, мне кажется, он влюбился в меня». Допу-

стим, я смогу достать ее адрес, поеду туда, найду дом, но достанет ли смелости подняться на тот этаж, где она живет, и постучать в дверь? А может, мне следует стоять во дворе и ждать сколько надо. А может, она и не выйдет из своей квартиры, тем более уже холода наступили. Какой же я омерзительно нерешительный! Нет, лучше уж завтра пойду к ним на факультет, зачем мне столько ненужных волнений, что будет, то и будет».

Мысли о поездке его так занимали, что ему живо представилось, как он поехал к ней домой с цветами, ждал долго во дворе, тут еще дождь начал лить, он промок, бросил цветы в урну, вернулся домой и всю ночь не смог уснуть. Эти воображаемые сцены добавили ему решимости в принятии решения наконец-то завтра сходить на факультет, где она учится.

А пока он гулял по общежитию, готовил себя к завтрашней встрече с ней, смотрел в свой почтовый ящик, чтобы узнать, есть ли письма или телеграммы от его родителей. Вдруг он услышал голоса беседующих девчонок. О! Это были ее подружки.

– И когда ж ты видела Н.?

– Три дня назад.

– Она вот так все это тебе рассказала?

– Да, а что? – удивилась та.

– Ей больно было?

– Говорит, что не очень.

– Они что у Коли были?

– У Колиной тетки. Представляешь, на кухне.

– Они что, пьяными были?

– Пьяные? Она же водку не пьет.

– Вино, шампанское же пьет.

– Ты же Н. знаешь, она у нас ужасно стеснительная…. Ну-у, разве что, может, для храбрости чуть-чуть, наверно, глотнули пару рюмок вина или там коньячка.

– Попробовали.

– Ну да.

– Интересно, она уже зачала от него?

– Слушай, что ж за глупые вопросы задаешь, когда будто ты сама все это не видела. Еще месяц не прошел, а ты такой дурацкий вопрос задаешь. Откуда ж мне знать, она зачала или нет, блин.

А ему подавно не надо было о чем-то знать.

Я и она

Посвящается К.Ф.

Каждый раз, когда эта немного смуглая, хрупкая девушка, с длинной шеей и чуть пугливым взглядом легкими шагами проходила мимо меня, я не мог не назвать ее иначе как молодая газель…И я убедился в своем мнении, когда узнал, что ей всего-то 18 лет и она еще девственница. Ведь молодые газели всегда вызывают ассоциации с невинностью. Даже несведущие в этом молодые люди, сразу могли заметить в ней эту черту. Человек, вообще не разбирающийся в юных девушках, услышав ее голос, однозначно сказал бы: «Да она же еще не знает, что такое жизнь». Такая нежная, тихая, с голосом, лишенным какой-либо фальши, голосом, привносящим теплоту в атмосферу общежития, высокие, холодные стены которого с наклеенным голубым кафелем напоминали мне о рутине, скуке, жестокости и смерти.

Как сказал бы поэт, я был в упоении от этой чистоты. И моя южная горячая кровь часто бурлила от мысли, что вокруг много тигров, волков и шакалов, которые

ждут случая, чтобы сожрать эту хрупкую газель. Иногда я воображал себе, что я подхожу к ней и говорю: «Давай-ка я построю тебе стеклянный проход, по которому ты сможешь беспрепятственно входить и выходить из комнаты, не сталкиваясь с этим миром инстинктов и рефлексов».

Однажды она пригласила меня к себе на день рождения. Помню, что я, краснея, заплетающимся языком отказался от ее приглашения, объясняя свой отказ тем, что я не достаточно близко знаком с ее друзьями. Несмотря на ее настойчивые просьбы, я все не соглашался. И тут же, некстати, я пригласил ее зайти завтра ко мне, чтоб послушать мой стих, посвященный ей. Тогда и она вежливо отказалась от моего приглашения. Я затем подсознательно понял причину моего отказа: слишком велик был страх потерять образ пугливой девушки, легкой походкой идущей по стеклянному проходу. Мне чудилось, что она обязательно выпьет чуть больше своей нормы и скажет своим друзьям пьяноватым голосом: «Ой, ребята, у меня голова кружится»....А к вечеру вовсе лишится рассудка…..

Часто я воображал себя охотником-джигитом, спасающим ее, когда видел, как хищники-волки из нашего общежития готовы сломать «стеклянный проход» и украсть мою пугливую газель. Я представлял, как предлагаю ей убежище в своей крохотной комнатушке, сижу с ней, напряженно сдвинув ноги, и молча смотрю на нее…. Но дальше воображения, конечно, это все не шло. Я понимал, что даже не будь этих волков и шакалов, и останься я наедине с ней, и будь мы одни во всем общежитии, то и тогда я не был бы львом, готовящимся к атаке на газель. Ведь я был таким же мирным и невинным, как она.

Барьер

Большинство молодых девушек не любят, когда их сверстники бывают чрезмерно доброжелательными с ними. Я убедился в этом, когда сидел в одной компании, где были три девушки. Мы сидели за столом, накрытым вкусными разного рода салатами и блюдами и разговаривали о разных вещах. И они завели разговор об одном их однокурснике, которого они, как сами говорили, обожали. Перед этим жаловались на то, что сейчас нет «настоящих, хороших парней» (это любимая, банальная фраза многих девушек, с которыми я часто сталкивался, обычно такие девушки обладают низким или средним умом. В таких разговорах я тоже «жалуюсь» на отсутствие хороших и приличных девушек. На этот раз я не хотел испортить настроение этих веселых девушек). И вот я слушал, как они с большой охотой хвалили одного сокурсника. Одна из них говорила:

– Слушай, он такой культурный парень, такой добрый. Прошлым летом на практике я порезала руку, слушайте, вот буквально через минуту, даже минута не прошла, откуда-то достал йод и бинт, намазал рану, забинтовал да еще успокаивал меня. Говорит, не волнуйся, легкая рана, скоро пройдет. Согласитесь, что такого сейчас не найдешь.

Вторая:

– Да, она правду говорит. В прошлом семестре на экзамене по экономической теории я чуть не провалилась. Представьте, мне попал такой билет, на который у меня не было шпаргалки. Я ему говорю, помоги мне, я завалю этот экзамен. А он ради меня попросил разрешение у препода выйти, достал у ребят ответ, которые уже сдали экзамен, и принес мне. Вот я вас уверяю, никто бы из наших студентов ради меня, да не то что ради меня, а ради другого не рискнул бы таким образом достать билет. Тем более все знают, что этому преподу нужен хоть маленький повод, чтобы завалить студентов. А он такой молодец. Ну, я не знаю, как называть таких парней, просто слов не хватает.

Третья:

– Тоже летом, на практике, сижу без настроения из-за спора с Л. И вот сижу грустная, и тут он появляется и спрашивает: «Что ты такая сегодня грустная?» А я говорю ему: «Да отстань от меня, занимайся своим делом. Тебе зачем знать, какое у меня настроение». А он уходит и буквально через пятнадцать минут появляется с цветами и говорит: «Вот эти цветы тебе, собрал для тебя в лесу, хотел развеселить тебя, не будь такой грустной, тебе не к лицу грусть». А у меня после этого так настроение поднялось. Вот я его уже четыре года знаю. Что ни попроси, он сразу найдет для тебя, я тогда была так тронута его поступком.

Я не буду в подробностях описывать их хвалебные высказывания об этом парне. Только добавлю, что в течение их четырехлетнего общения он еще ни разу не говорил грубого слова им – как они сами говорили – и всегда был в добрых отношениях со всеми девушками. У меня сложилось такое впечатление, что это был очень добрый, мягкий, благодушный молодой человек. И тут мне в голову пришла идея, задать им всем вопрос (возможно, совершенно неуместный):

– А вот скажите, только честно. Если бы он сделал вам предложение, ответили бы ему взаимностью?

Я должен отметить, что у этих девушек не было ухажеров. После моего неожиданного вопроса они заметно растерялись, удивленно посмотрели друг другу в лицо, а потом одна из них сказала:

– Ну как тебе сказать???

Дальше она говорила, что подумала бы над этим предложением. И в общем для нее «было бы трудно сделать окончательный выбор». Другие же подтвердили эту мысль, ибо она была подходящим для них ответом на мой вопрос. А мне стало совершенно ясно, что им нравятся поступки и доброжелательный характер этого молодого человека, а не он сам как парень. Мне могут возразить, что почему он должен обязательно понравиться этим девушкам как парень, в которого они могли бы влюбиться или отвечать ему взаимностью, если бы он сделал им предложение. Меня также могут спросить, что, может быть, он не в их вкусе. Да и я сам не говорю, что эти девушки должны были отвечать ему взаимностью, если бы он признался в любви к ним (или к какой-нибудь из них). Я просто уверен, что этот молодой человек, сделав предложение многим девушкам, получил бы отказ, ибо одна доброта, благодушие и чрезмерное внимание – недостаточные черты характера для многих милых особ. Во-первых, чрезмерность – это во многих случаях отталкивающая, а не привлекательная черта. А во-вторых, женская природа, кроме этих хороших и необходимых качеств, требует еще жесткости, иногда умеренного высокомерия, сохранения определенной дистанции.

Я много видел таких милых особ, и поэтому тактичный ответ этих девушек «мы подумали бы над этим предложением» показался мне совершенно ложным.

октябрь 1999, Санкт-Петербург,
с некоторыми добавлениями
сентябрь 2010, Баку

РАЯ АББАСОВА

НАДО ВЕРИТЬ В СЕБЯ И В СВОЕ БУДУЩЕЕ

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова – личность, вызывающая в Азербайджане не только глубочайшее уважение, но и особый «личный» интерес. Дело в том, что в историю страны вписаны имена двух дочерей видного общественного деятеля Гасанаги Терегулова: Малейка-ханым стала супругой основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли, а Багдигюль-ханым – его верного соратника Муслима Магомаева-старшего. Разница в одной фамильной букве никак не помешала зародиться мысли о возможных корневых пересечениях, да и ответ Зельфиры Исмаиловны не отверг озвученную мысль, а скорее разжег огонь интриги:

– В семьях татарской национальности девушки сохраняют отцовскую фамилию. Не стала исключением и моя мама, настоящая фамилия которой Терегулова. В 1929 году моего деда репрессировали. Многие семейные фотографии пропали, не сохранились и памятные вещи, которые приходилось сдавать в Торгсин, чтобы прокормиться. В 1936 году при получении паспорта маме вписали фамилию «Трегулова», нивелирующую национальную характерность. Более ничего не могу сказать.

– И, тем не менее, позвольте поблагодарить вас, Зельфира Исмаиловна, за внимание к проводимым в Москве культурным процессам, отражающим современное азербайджанское искусство живописи, не говоря уже о ваших личных инициативах в этом направлении.

– Государственная Третьяковская галерея – музей мирового значения, в котором экспонируются работы исключительно высокого профессионального уровня. Поэтому внимание с нашей стороны к творчеству таких выдающихся азербайджанских художников, как Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков и ряда других, вполне закономерно.

К великому сожалению, в прошлом году Таир Теймурович ушел из жизни. В память об этом крупнейшем художнике второй половины XX – начала XXI века в одном из залов Третьяковской галереи в ноябре была развернута выставка лучших работ мастера, приуроченная к его дню рождения.

– Как давно началось ваше творческое общение с Таиром Теймуровичем?

– Наше знакомство произошло на приуроченной к 80-летию Таира Салахова первой московской ретроспективе его работ в Фонде культуры «Екатерина». Помнится, Айдан (*дочь Т.Салахова* – **авт.**) попросила меня немного помочь с экспозицией (считается, что мне удается неплохо вешать выставки).

В 2015 году меня назначили директором Третьяковской галереи, в которой к этому времени уже были проведены выставки многих известных художников (и не

только российских), и среди них – ни одной Таира Салахова! Я была просто потрясена! Он трижды избирался Секретарем Союза художников СССР, как должностное лицо часто присутствовал на открытиях выставок! Я тогда даже приблизиться к нему не решалась. Он был небожителем и, как выдающийся художник, имел полное право на проведение своих персональных выставок в самых лучших музейных залах, но даже намека на то не делал! Каждый раз, когда излишне настойчивые деятели осаждают своими просьбами и требованиями, я неизменно вспоминаю деликатность Таира Теймуровича.

В 2016 году мне удалось осуществить идею о масштабной выставке работ Таира Салахова в Третьяковской галерее под названием: «Солнце в зените», которую я рассматривала как возвращение запоздалого долга выдающемуся художнику. Выставка прошла с большим успехом, но Таир Теймурович все время волновался: вдруг кто-то подумает, что он сам попросил меня о проведении выставки! Поэтому если речь заходила о «Солнце в зените», он обязательно подчеркивал, что идея и организация выставки принадлежат именно мне.

Интересный факт: указанное событие положило начало реализации серии выставочных проектов, представляющих искусство 70-80-х годов XX столетия – невероятного пласта культуры, которым смело можно гордиться. А нам Таир Салахов подарил бесконечно важную для него картину, которая ему была особенно дорога – портрет матери, сидящей в полуобороте на красном стуле на фоне агавы.

– А с 1980-х до начала 1990-х годов, находясь на должности первого секретаря Союза художников СССР, Салахов курировал вопросы международных творческих связей. По его инициативе и непосредственном руководстве в Москве была впервые проведена серия выставок, посвященнных работам уникальных по своему дарованию западных художников, а именно: Роберта Раушенберга, Джеймса Розенквиста, Гюнтера Юккера, Фрэнсиса Бэкона, Жана Тэнгли, Джорджо Моранди, Янниса Кунеллиса, Гилберта и Джорджа, а также успешные экспозиции «12 европейских художников» и «40 художников Нью-Йорка» – все выставки имели потрясающий успех!

– Организация таких экспозиций, на которых были представлены ранее не выставлявшиеся в СССР работы ярчайших звезд западного искусства, было делом непростым. Помнится, Таир Теймурович особенно старался привезти в нашу страну произведения Роберта Раушенберга, на выставку которого пробиться было просто невозможно. Толпа людей, в числе которых был и министр культуры того времени Василий Георгиевич Захаров, в ужасной тесноте, ожидали минут 50 появление Раушенберга, который пришел в приподнятом настроении, в джинсах, клетчатой рубашке и жилетке со множеством карманчиков. Я никогда не прошу автографов, но, увидев Раушенберга, присевшего на какую-то тумбу, подошла к нему, дрожащими руками протянула свой билет и попросила оставить автограф, что он и сделал. Должна сказать, что лучшей выставки Роберта Раушенберга, чем та, которую организовал Таир Салахов, я не видела.

– Из личной беседы с Таиром Теймуровичем знаю, что Раушенберг подарил Союзу художников СССР три свои работы, которые Таир Теймурович передал Третьяковской галерее...

– Да, это правда и мы обязательно включим их в новую экспозицию, которую откроем после реконструкции здания на Крымском Валу.

Наши пути с Таиром Теймуровичем пересекались и на Венецианской биеннале. Я счастлива, что в 2022 году совместно с Фондом Гейдара Алиева мы организуем в Палаццо Ка'Фоскари в рамках этого форума международного искусства выставку работ Таира Теймуровича, которая будет перекликаться с Венецианской биеннале 60-летней давности – 1962 года.

Тогда Таиру было 34 года, и он был старшим в группе из трех молодых художников, в которую помимо него входили Виктор Попков и Гелий Коржев, работами которых Советский Союз представлял себя на этой международной выставке в 1962 году.

Третьяковская галерея уже провела в рамках Венецианской биеннале в экспозиционных залах университета Ка'Фоскари выставки Попкова и Коржева.

Завершающим этапом столь своеобразного триптиха в 2022 году станет ретроспектива работ Таира Салахова, которую мы проведем совместно с Фондом Гейдара Алиева. На знаменитом здании Ка'Фоскари на Гранд-канале на шесть месяцев будет размещен баннер с именем Таира Салахова, информирующий о проводимой выставке. А совсем недалеко расположится и павильон Азербайджана.

Если продолжить разговор о присутствии азербайджанского искусства в Москве, то вернусь в 2017 год, когда совместно с Фондом Гейдара Алиева была проведена выставка «Абшеронская школа». Присутствие и приветствие Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой придало событию особую значимость. Необходимо подчеркнуть: все наши проекты по Азербайджану проводятся при серьезной поддержке и участии Фонда Гейдара Алиева, чей вклад в дело интеграции азербайджанского искусства в мировое пространство, заслуживает глубочайшего уважения.

«Абшеронская школа» – фантастическая выставка, по завершению которой один из самых интересных азербайджанских художников подарил Третьяковской галерее свою лучшую картину.

В настоящее время в рамках подготовки к предстоящей выставке в Венеции мы стараемся найти новые интересные образы, придумываем новые очень интересные ходы. Символизирующие Азербайджан солнце, священный огонь, нефть будут в центре ретроспективы.

– Позволю предположить, что вы неплохо знакомы с Азербайджаном.

– В 2016 году меня пригласили на большую международную конференцию. Очень сильное впечатление произвело на меня тогда выступление Президента Ильхама Алиева. Безукоризненное владение английским языком, какая свобода речи – стратегически оригинально и интересно выстроенная, и никаких заранее приготовленных напечатанных текстов!

Не буду скрывать, с удовольствием вновь побывала бы в Баку, который поражает органичным сочетанием традиций и современности. Построенный в Баку по проекту Захи Хадид Центр Гейдара Алиева – потрясающий!

В нем безумно сложно делать выставки, но здание феноменально! Я бы мечтала, чтобы такое здание было в Москве, но, к сожалению, Захи уже нет в живых.

Яркий контраст – окруженный многовековыми крепостными стенами Старый город, в котором находятся основные символы страны – Девичья башня, Дворец Ширваншахов. Прогуливаясь по антикварным лавочкам в Старом городе, поняла, что без ковра советских времен я никуда не уеду. Подобрала себе ковер (с сертификатом), который украшает мою квартиру в Москве, пылая своим потрясающим красным цветом.

Я обожаю национальные шелковые платки – кялагаи, искусство изготовления которых внесено в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО. Я купила два кялагаи: старинный золотисто-желтого цвета и современный. Оба – фантастической красоты, высочайшего качества.

– Зельфира-ханым, ваша успешная деятельность на посту руководителя Третьяковской галереи широко признана, отмечена государственными наградами. Если позволите, на какую основу вы пришли в Третьяковку, и какие новации связаны с вашим именем?

– Отвечая на ваш вопрос, мне в какой-то момент придется быть немного нескромной. Ко времени моего прихода (2015 год) Третьяковская галерея, являясь одним из шести наиболее ценных музеев страны, заметно отставала от таких лидеров, как Эрмитаж, Пушкинский музей и Музей Кремля. Я понимала: чтобы изменить ситуацию, не вкладывая огромных денег, необходимо разработать стратегию развития и сформировать команду.

Еще в начале 90-х годов мне удалось постичь главный секрет того, как стать правильным руководителем. Прежде всего, людям необходимо дать возможность для реализации своего потенциала, и тогда они будут более смело предлагать идеи, в числе которых могут быть весьма интересные и полезные. А когда все сделано и получилось здорово, говорить им «спасибо».

К сожалению, во главе отечественных музеев часто стояло вполне авторитарное руководство, и люди иногда даже побаивались проявлять чрезмерную инициативу, не желая стать объектами нездорового обсуждения. С первых дней я присматривалась к сотрудникам музея: кто-то работал в неполную силу, но имел серьезный потенциал; другого не удавалось распознать сразу, но в процессе работы раскрывались его ценные профессиональные качества.

Своевременным шагом со стороны Попечительского совета стало решение объявить конкурс на разработку концепции развития Третьяковской галереи, победителем которого стала известная британская фирма Event Communication, совместно с Третьяковской галереей и AEA Consulting определившая наиболее перспективные и приоритетные направления развития музея. Спасибо Виктору Вексельбергу – известному меценату, взявшему на себя финансирование конкурса и разработки концепции.

– Ваши первостепенные действия соответствовали разработанной концепции?

– Главные постулаты были преподнесены в виде кратких слоганов: «изменив свое музейное пространство, изменишь зрителя», «повернись лицом к зрителю», «трансформируя самого себя, измени себя», и т.д.

Идея первого слогана прямиком ориентировала на болезненную для меня ситуацию, сложившуюся на Крымском валу!

Здесь была размещена самая большая экспозиция по искусству XX века, а в гардеробе – в период между большими выставками – не более 20 пальто. Максимальное число посетителей в день в среднем – 230 человек, и это на площади в десятки тысяч квадратных метров!

Но порой возникали сомнения, как в случае с проектом выставки Валентина Серова (осень 2015), который был готов в момент моего прихода в музей и показался мне очень консервативным – я просто не могла под ним подписаться. Его реализация в таком виде могла бы стать для меня личной стартовой неудачей, подорвать мои усилия по превращению Третьяковской галереи в музей высочайшего уровня, которого заслуживает его уникальная коллекция и история, начало которой положено 165 лет назад. Не поменяв ни одного экспоната в списке, я в течение полутора месяцев вместе с коллегами работала над переформатированием этой выставки. В результате, ретроспективу Серова посетило около 485 тысяч человек (по 4-5 тысяч в день). Такого рода очереди в Третьяковку не выстраивались до этого никогда, очереди раньше стояли в Пушкинский музей на привозные выставки: Караваджо, Рафаэль, «Джоконда» Леонардо Да Винчи и др.

– А как обстояли дела с другими пространствами, входящими в состав Третьяковской галереи?

– Мы многое изменили не только на Крымском Валу, где в 2019 году было зафиксировано уже полтора миллиона посетителей. Напомню: в «обойме» Третьяковки находятся несколько, так называемых, малых музеев, которыми мы занялись вплотную, следуя стратегии, определенной нашей программой развития. В Инженерный корпус, где проходили выставки из Пинакотеки Ватикана, произведений Эдуарда Мунка и Архипа Куинджи, было невозможно попасть. В результате, за период с 2015 по 2019 годы число посетителей музея увеличилось в два с лишним раза, достигнув цифры в 2 миллиона 836 тысяч человек.

Надо отдать должное нашей программе развития, в которой была четко проработана и программа «быстрых побед» и стратегия достижения глобальных задач и целей. Программу планировали на период с начала 2016 года и до 2025 года. И вот здесь разработчики концепции несколько ошиблись, так как в первый же два года нам удалось достичь уровня, планировавшегося на 2020 год.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что со времени моего прихода в Третьяковку бюджет галереи увеличился в три раза, и сегодня Третьяковская галерея занимает ведущее место в среде главных московских музеев. Практически каждый наш проект – весомое слово, показательный шаг в создании новой истории отечественного искусства. Несмотря на пандемию, сейчас в Париже десятки тысяч людей знакомятся с творчеством одного из величайших русских художников – Ильи Репина. Невозможно купить билеты на представленную в Фонде Luis Vitton выставку, объединившую около двухсот шедевров французской и русской живописи из коллекции братьев Морозовых. В Дрездене прошла замечательная выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». В Потсдаме огромным успехом сопровождалась выставочная экспозиция «Импрессионизм в России», показанная ранее в Баден-Бадене. Шедевры из собрания Третьяковской галереи были представлены в музеях Ватикана в проекте «Русский путь: от Дионисия до Малевича». Экспозиция русского искусства рубежа XIX – XX веков, разместившаяся в Музее Мунка (Осло, Норвегия), стала самой посещаемой выставкой за всю историю этого музея. Признаюсь, удовлетворение огромное! Такой громкий успех говорит о том, что русское искусство – одно из сильнейших в мире.

– В наш век высоких технологий, когда на просторах интернета все можно увидеть и везде побывать, насколько активно присутствие в Галерее представителей молодого поколения?

– Меня бесконечно радует, что среди наших посетителей огромное количество молодых людей. Думаю, как раз, наоборот, наши онлайн программы в период пандемии только раззадорили интерес общества к искусству, представленному, в частности, в Третьяковской галерее.

Для меня ценно, когда работающая в нашем музее молодежь проявляет инициативу, хочет сделать что-то свое, самостоятельное. Многим, вероятно, трудно представить, что для таких молодых людей главное – не зарплата, а возможность саморазвития, постижения профессии как бы изнутри.

– Изучение музейного дела молодых специалистов на базе Третьяковской галереи – такое практикуется?

– Мы сейчас развернули магистерские программы по музейному делу. Существует обмен программами с искусствоведческим факультетом МГУ. Полноценные же магистерские программы организуются нами в Калининградском Балтийском университете и Дальневосточном Федеральном университете во Владивостоке, лучшие выпускники которых – наши потенциальные сотрудники. Мы готовы делиться своими know how и не только в рамках стажировок, которые в стенах Галереи возможны, но ставить их на поток – такого в планах нет.

– Насколько известно, в вашей профессиональной жизни факт стажировок сыграл во многом определяющую роль.

– И это действительно так. В 1993 – 1994 годах мне посчастливилось проходить стажировку в Музее Соломона Гуггенхайма. Прелюдией к этой стажировке, продолжавшейся семь месяцев, стала моя работа над выставкой «Великая утопия», на которой были представлены полторы тысячи экспонатов. Это был большой опыт для меня, так как мне выпала счастливая возможность работать с выдающимися кураторами – знатоками русского авангарда и с уникальным архитектором выставки Захой Хадид.

Возвращаясь к Музею Гуггенхайма, особо подчеркну: директор музея, великий визионер Томас Кренц применил, возможно, судьбоносный для меня стратегический шаг, определив мое рабочее место в кабинете своего заместителя Майкла Гованаи и поставив передо мной непростые задачи: подсчитать бюджет выставки, которую готовил в это время музей, написать, естественно, на английском, письмо спонсору и т.д. В помощи не отказывали, но я стремилась «выплывать» самостоятельно. Кстати, именно в период прохождения стажировки в этом музее я поняла, насколько для музея важна правильная работа со СМИ. Я находилась в кабинете Майкла Гованаи во время встречи со спонсорами, и в этот момент ему сказали, что пришел ведущий обозреватель газеты «New York Times» Майкл Кимельман. Гован немедленно попросил своих коллег продолжить встречу со спонсорами, а сам отправился разговаривать с журналистом. Он прекрасно понимал, что от того, как пройдёт разговор с обозревателем «New York Times» зависит, где будет размещена статья, как будет преподнесена читателям выставка, понимал, что от этого во многом завит судьба проекта. Постижение секретов профессии на практике стало для меня лучшей школой. Я бесконечно благодарна за полученный профессиональный опыт господину Томасу Кренцу и его потрясающей команде.

В моей профессиональной жизни были и другие длительные стажировки, в том числе, в Метрополитен-музее, и каждая из них явилась важной ступенью моего профессионального становления.

– Зельфира Исмаиловна, ваше свободное владение английским, французским, немецким, итальянским, латышским языками – особый природный дар или огромное усердие, хотя одно, безусловно, не может обойтись без другого.

– Я до 17 лет проживала в Риге. Отсюда – мой латышский. Английский изучала с первого класса, причем преподаватель был носителем языка, приехала из Канады, что для 70-х годов было большой редкостью. В настоящее время в школе, где я училась, изучают уже восемь языков. Когда поступала в МГУ (окончила исторический

факультет), с современной англоязычной литературой по специальности можно было ознакомиться в библиотеке иностранной литературы или выписывать интересующие издания по международному абонементу (из американской Библиотеки Конгресса, например). В университете изучала французский, чуть позже еще и немецкий. Но годового курса немецкого было недостаточно, и я, в свои 40 лет, пошла в Институт Гёте учить немецкий. А в 55 лет в рамках Года России готовила выставку в Италии, и в Итальянском институте в Москве вместе с коллегой начала изучать итальянский.

Знание иностранных языков открывает особые возможности: во время переговоров ты не зависишь от переводчиков, не говоря уже о развитии способностей, расширении круга общения, тренировке мозгов.

– У вас две успешные дочери, в вашей семье подрастают внуки. Поделитесь, каких принципов воспитания вы придерживаетесь?

– Я всегда работала и продолжаю это делать очень интенсивно, и, наверное, что-то в свое время проходило мимо моего внимания, но уверена: главный принцип воспитания – люби и доверяй. Меня радуют успехи дочерей, которые с ранних лет привыкли к самостоятельности. Но мама – это одно, а бабушка – другое. У меня двое внуков: мальчику – 11, девочке – 6. Обращаются они ко мне не иначе, как «бабушка Зельфира». Знаю, многие боятся слова «бабушка», а я его воспринимаю как что-то очень теплое, родное, доверительное. Люблю уменьшительно-ласкательные суффиксы: Сашенька и Женечка, еще раз Женечка и Верочка. Любовь, внимание и ласка – лучшего пути к взаимопониманию не найти. Я понимаю, что всегда можно найти время, чтобы что-то объяснить внукам, выслушать, а если надо, то и посоветовать. В противном случае позже возможно придется тратить куда больше времени, чтобы привести настаивающего на своем ребенка в чувство. Детям важно знать, что им есть на кого положиться. Да и взрослым такое тоже никогда не помешает.

– И в завершение нашей беседы: цитата, соответствующая вашей жизненной позиции.

– Мы начали нашу беседу с воспоминаний о выдающейся личности – Таире Салахове и в качестве резюме позволю себе процитировать созвучную моей жизненной позиции мысль этого уникального художника, приведённую в вашей, Рая-ханым, книге «Диалог»: *«Когда тебе доверяют ответственную позицию, когда ты работаешь с творческими людьми, которые часто отличаются непростым характером, неординарным мировосприятием, надо оставаться просто человеком. Надо верить в себя и в свое будущее, не забывая при этом постоянно работать над собой»*.

МАРАТ ШАФИЕВ

Наивный манифест

«Истребительная война, в которой могут быть уничтожены обе стороны, привела бы к вечному миру на гигантском кладбище человечества», – предупреждение Канта 1795 года цивилизация осознала совсем недавно.

Сто лет назад агрессор, сознавая риски, всё ещё соблазнялся добычей и надеялся на победу. Воинская психология восхваляла героическую романтику. Сегодня если кого-то не коснулся локальный пожар, то коснётся планетарная ядерная зима. И потому нет ни одной национальной, космополитической, религиозной идеи во имя которой стоило бы выступать в Большой Поход. Не может быть ни однополярного, ни биполярного миропорядка, каждый народ достоин существования.

Человек должен гордиться своей национальностью, но собственная исключительность позволяет ему чутко распознать равноценную индивидуальность чужого. Устойчивость и прелесть жизни определяют бесконечные возможные комбинации её строительного материала. Этот принцип даже не сознания, а нечто Большего.

Классическую ньютонову механику, не сомневающуюся в описании космоса одной формулой, сменила квантовая физика непознаваемого. Принцип дополнительности Бора хорош уже тем, что применим не только к науке. Подобно современной науке, которая творится на стыке смежных дисциплин (математическая физика, биохимия, астрофизика, философская психотерапия и тому подобное), все прорывные открытия в культуре рождаются на пограничной полосе, на стыке языков. Низами, Хагани, Навои, Пушкин, Чингиз Айтматов, Максуд и Рустам Ибрагимбековы, Бахыт Кенжеев, Абдурахман Вабери – примеров более чем достаточно.

Но патриотизм, отказывающий в праве на жизнь чужому – это уже фашизм. Возвращение от человечности к звериному.

Всё, что я говорю – не откровение, но истины почему-то забываются, поэтому о них надо напоминать постоянно, на всех площадках. А дело поэта выдавать идеи с ещё большей эмоциональной нагрузкой, чтобы они потрясали не ум, но сердце сердца.

24 марта 2022

***

Такая пришла беда,
казалось бы навсегда.
Встала стеной железной –
не обойдешь, не влезешь.
Такой придавила силой,
хоть сразу ложись в могилу.
Объять её не по уму,
выжили как – не пойму.
Все позабылись подробности,
но образ без срока годности
не меркнет: такой беды –
Господи, не приведи!

Наивный манифест

Дефицит по слезам,
по чувствам подлинным.
В мире подлунном,
в мире полуденном
сколько раз ни кричи: «Сезам!»,
не услышишь ответ.
Не откроются – заперты двери,
и не выскочит, щурясь на свет,
девочка с именем Вера.
Что же делать, как быть?..
Как вернуть эпоху наивную,
по-простому устроенный быт,
где никто никому не завидует
и человек человеку – родня.
Не от Вечности,
не с Пути Млечного,
а от печки плясать начни,
то есть, начни – с себя.
Будто руки живые простёр,
до любви первозданной зол,
видишь – встал из золы костёр,
из потухшей, казалось, золы.

Атомный взрыв

1
Мы огнём ослеплены,
взрывом мы сотрясены –
и не стало в мире больше
ни Земли и ни Луны.

2
Пожирает мир огонь,
небо рвется из окон,
камень исторгает стон –
я увидел вещий сон.

3
Твердь земную мы копаем,
прах на прахе отрываем;
мы свой век не проживаем –
умираем, умираем.

4
Покидая гнезда, звёзды
разрешили все вопросы,
может, и Земле пора
с поля зренья выпасть просто.

5
Жизнь о бессмертье своём врёт,
смутив доверчивый народ –
случайный камушек сорвёт
космический круговорот.

6
Зыбок мир земной и мал –
унесёт девятый вал,
только почему не меркнет
этот зыбкий идеал?